

Оливия Киттеридж

Автор:

[Элизабет Страут](#)

Оливия Киттеридж

Элизабет Страут

Оливия Киттеридж #1

Знаменитая «Оливия Киттеридж» в новом переводе. За эту книгу Элизабет Страут получила Пулитцеровскую премию, итальянскую премию Premio Bancarella Prize, роман также стал финалистом National Book Critics Circle Award. Истории, которые наблюдает или проживает Оливия Киттеридж, сплетаются в замысловатый сюжет из жизни крошечного городка. Оливия – резкая, сумасбродная, сильная и хрупкая, одинокая и любимая женщина, из тех, что живут рядом с каждым из нас... Но только Оливия способна увидеть то, что прячется под покровом обыденности, те глубокие течения, что управляют людьми, их чувствами и судьбами. Оливия точно знает, как надо жить, или думает, что знает. Книга, после которой начинаешь ценить тех, кто рядом с тобой, – родных, друзей и даже недругов.

Элизабет Страут

Оливия Киттеридж

Моей маме, мастерице делать жизнь волшебной и лучшей рассказчице из всех, кого я знаю

Olive Kitteridge by Elizabeth Strout

Copyright © 2008 Elizabeth Strout

Опубликовано при содействии Random House, импринта и подразделения Penguin Random House LLC

Перевод с английского Евгении Канищевой

© Евгения Канищева, перевод, 2020

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2020

Аптека

Долгие годы Генри Киттеридж работал фармацевтом в соседнем городке и каждое утро вел машину по заснеженным дорогам, или по мокрым дорогам, или по летним дорогам, когда дикая малина выбрасывала новенькие колючие плети на самой окраине, перед поворотом на широкое шоссе, ведущее к аптеке. Теперь, на пенсии, Генри все равно просыпается рано и вспоминает, как сильно он любил утро – словно весь мир был его личной тайной, как тихонько шуршали шины, как проступал свет из утренней дымки и как справа на миг мелькал залив, а потом показывались сосны, высокие и стройные, и как почти всегда он ехал с приоткрытым окном, потому что любил запах сосен и густого соленого воздуха, а зимой любил запах холода.

Аптека была маленькая, двухэтажная и примыкала к другому зданию, в котором были два отдельных магазинчика – хозяйственный и продуктовый. Каждое утро Генри парковался во дворе у железных мусорных баков, через заднюю дверь входил в аптеку, включал везде свет, термостат или – летом – вентиляторы. Открывал сейф, заряжал кассовый аппарат деньгами, отпирал главный вход, мыл руки, надевал белый лабораторный халат. Этот ритуал был приятен и утешителен, как будто бы сама старая аптека – с ее рядами зубной пасты,

витаминов, косметики, заколок для волос, даже швейных иголок и поздравительных открыток, а также красных резиновых грелок и клизм – была его неизменным и надежным другом. И все неловкое и неуютное, что случалось дома, все тревоги из-за того, что жена часто среди ночи покидала их постель и бродила по комнатам, – все это отступало, как берег в прилив, стоило ему перешагнуть порог своего надежного прибежища. Стоя в глубине аптеки, у выдвижных ящичков и шкафчиков с медикаментами, Генри радовался жизни, когда начинал трезвонить телефон, радовался жизни, когда приходила миссис Мерримен за своими таблетками от давления или старый Клифф Мотт за настойкой наперстянки, радовался жизни, когда готовил валиум для Рейчел Джонс, от которой сбежал муж в ту самую ночь, когда у них родился ребенок. Слушать – это было его, Генри, естественное состояние, и каждую рабочую неделю он по многу раз повторял: «Ох, до чего печально это слышать!» или «Ну надо же, ничего себе!»

В душе его жил тихий трепет человека, в детстве дважды пережившего нервные срывы матери, которая в остальное время неустанно о нем пеклась. И потому если иной покупатель – такое изредка, но бывало – огорчался из-за цены либо возмущался низким качеством эластичного бинта или пакетика со льдом, Генри всегда старался поскорее уладить недоразумение. Много лет у него работала миссис Грэнджер. Ее муж был ловцом лобстеров, и с ней в аптеку словно влетал холодный морской ветер: она была не из тех, кто стремится угодить придирчивому покупателю. Генри, готовя лекарства по рецептам, вечно прислушивался вполуха – не дает ли она там, у кассы, решительный отпор кому-нибудь недовольному. Похожее чувство не раз возникало у него, когда он поглядывал, не слишком ли сурово отчитывает Оливия, его жена, их сына Кристофера из-за невыполненного урока или несделанных домашних дел; он знал за собой это свойство – быть всегда настороже, знал эту свою потребность всех умиротворить. Заслышав резкие нотки в голосе миссис Грэнджер, он спешил из глубины зала, чтобы самому поговорить с клиентом. В остальном миссис Грэнджер справлялась с работой хорошо. Он ценил, что она была не болтлива, идеально вела учет товаров и почти никогда не отпрашивалась по болезни. И то, что однажды ночью она взяла да и умерла во сне, потрясло его и вселило даже некое чувство вины, как будто, годами работая с ней рядом и возясь со своими пилюлями, сиропами и шприцами, он не замечал какого-то важного симптома, а заметить – мог бы все исправить.

– Мышь, – сказала его жена, когда он взял на работу эту новую девушку. – Типичная мышка.

У Дениз Тибодо были круглые щеки и маленькие глазки, робко поглядывавшие из-за очков в коричневой оправе.

- Но милая мышка, - уточнил Генри. - Симпатичная.

- Не может быть симпатичным тот, кто горбится, - отрезала Оливия.

И действительно, узенькие плечи Дениз всегда были ссутулены, как будто она за что-то извинялась. Ей было двадцать два года, и она только что окончила университет штата Вермонт. Ее мужа тоже звали Генри, и Генри Киттеридж, впервые встретившись с Генри Тибодо, был восхищен совершенством этого юноши - совершенством, которого тот как будто вовсе не сознавал. Парень был полон сил и энергии, с твердыми чертами лица, со светом в глазах - казалось, светится все его простое, славное лицо. Он работал водопроводчиком в фирме своего дяди. Они с Дениз были год как женаты.

- Я не в восторге от этой идеи, - сказала Оливия, когда Генри предложил пригласить молодую пару на ужин.

Генри сделал вид, что не расслышал. Это было как раз в тот период, когда их сын, еще не проявлявший внешних признаков взросления, сделался вдруг напряженно угрюм, его дурное настроение выстреливало в воздух, словно ядовитый газ, и Оливия казалась такой же изменившейся и изменчивой, как Кристофер, и между этими двумя вспыхивали стремительные и яростные стычки, после которых их так же мгновенно словно бы окутывало одеяло безмолвной близости, отчего Генри, растерянный и ошарашенный, чувствовал себя третьим лишним.

Но, болтая на парковке за аптекой с Дениз и Генри Тибодо на излете лета, в конце рабочего дня, когда солнце так уютно пряталось за еловыми ветками, Генри Киттеридж испытал такое острое желание видеть эту молодую пару, быть рядом с ними, их лица, когда он вспоминал свои давние университетские дни, были обращены к нему с таким робким, но живым интересом, что он сказал:

- Знаете что? Мы с Оливией хотим в ближайшие дни пригласить вас на ужин.

Он ехал домой, мимо высоких сосен, мимо поблескивающего залива, и думал о том, как чета Тибодо едет в противоположном направлении, к своему трейлеру

на окраине. Он представлял себе этот трейлер, уютный и чистенький – потому что Дениз была аккуратисткой, – и представлял, как они обсуждают минувший день. Дениз могла бы сказать: «С таким начальником легко иметь дело», а Генри мог бы ответить: «Отличный мужик».

Когда он повернул на свою подъездную дорожку – не столько дорожку, сколько лужайку на вершине холма, – Оливия трудилась в саду.

– Привет, Оливия, – сказал он, направляясь к ней. Он хотел обнять ее, но натолкнулся на тьму, которая будто бы стояла вплотную к жене, как старая знакомая, не желающая уходить. Он сказал, что Тибодо придут на ужин. – Так будет правильно, – добавил он.

Оливия смахнула пот с верхней губы и отвернулась сорвать пучок перловника.

– Вопросов нет, господин президент, – сказала она. – Передадите повару свои распоряжения.

В пятницу вечером Тибодо приехали следом за ним. Молодой Генри пожал руку Оливии.

– Красиво тут у вас, – сказал он. – И такой вид на залив... Мистер Киттеридж сказал, вы с ним этот дом сами построили, вдвоем.

– Так и есть.

Кристофер сидел за столом вполоборота, по-подростковому неуклюже ссутулившись, и не ответил, когда Генри Тибодо спросил его, занимается ли он в школе каким-нибудь спортом. Генри Киттеридж неожиданно ощутил, как в нем вскипает ярость, ему захотелось накричать на сына, чьи дурные манеры словно бы выдавали что-то неприятное, чего никак не ожидаешь встретить в доме Киттериджей.

– Когда работаешь в аптеке, – сказала Оливия, ставя перед Дениз тарелку печеных бобов, – узнаешь секреты всего города. – Она села напротив девушки и придвинула к ней бутылку кетчупа. – Приходится учиться держать язык за зубами. Но вы, кажется, умеете.

- Дениз это понимает, - сказал Генри Киттеридж.

- Это уж точно, - сказал муж Дениз. - Такого надежного человека, как Дениз, еще поискать.

- Верю, - ответил Генри Киттеридж, передавая ему корзинку с булочками. - И пожалуйста. Зовите меня просто Генри. Это одно из моих любимых имен, - добавил он, и Дениз тихонько рассмеялась; он ей нравился, он ясно это видел.

Кристофер сгорбился еще сильнее и словно бы просел на стуле.

Родители Генри Тибодо жили на ферме далеко от залива, так что два Генри обсудили зерновые, и вьющуюся фасоль, и кукурузу, которая этим летом из-за дождей выдалась не такой сладкой, как обычно, и как сделать, чтобы спаржа хорошо росла на грядке.

- Да господи ж боже, - сказала Оливия, когда Генри Киттеридж, передавая гостю кетчуп, уронил бутылку и кетчуп густеющей кровью растекся по дубовому столу. Он потянулся поднять бутылку, она выскользнула, кетчуп оказался на кончиках его пальцев, потом на белой рубашке.

- Оставь, - скомандовала Оливия, вставая из-за стола. - Оставь ее в покое, Генри, ради бога.

Генри Тибодо - возможно, оттого что услышал собственное имя, произнесенное так резко, - вздрогнул и выпрямился.

- Боже, ну и свинство я тут развел, - сказал Генри Киттеридж.

На десерт каждый получил шарик ванильного мороженого в синей вазочке.

- Ой, ванильное! Самое мое любимое, - сказала Дениз.

- Надо же, - сказала Оливия.

- И мое тоже, - сказал Генри Киттеридж.

Пришла осень, и утра стали темнее, и в аптеку проникал один-единственный лучик солнца, а потом солнце пряталось за домом и приходилось включать верхний свет. Генри стоял в глубине зала, наполняя пластмассовые пузырьки и отвечая на телефонные звонки, а Дениз оставалась у кассы. Когда приближалось время перекусить, она разворачивала сэндвич, принесенный из дома, и съедала его в дальней комнате, где у них был склад, а Генри ел после нее; а иногда, если не было покупателей, они вместе устраивали себе перерыв со стаканчиком кофе из магазина за стеной. Дениз была прирожденной тихоней, однако у нее случались приступы внезапной разговорчивости.

– У моей мамы уже много лет рассеянный склероз, так что мы рано научились помогать по хозяйству. А братья мои, все трое, совершенно разные – правда, странно?

Старший брат, сказала Дениз, поправляя на полке флакон шампуня, был отцовским любимчиком, пока не женился на девушке, которая отцу не понравилась. Зато, сказала она, родители ее Генри – просто чудо. До Генри у нее был бойфренд из протестантов, и его родители были к ней не очень-то добры.

– Так что все равно бы ничего не вышло, – произнесла она, заправляя за ухо прядь волос.

– Генри потрясающий парень, – сказал Генри.

Она кивнула, улыбаясь сквозь очки, словно тринадцатилетняя. И он снова представил ее трейлер и как эти двое кувыркаются там, словно щенята-переростки; он сам не понимал, почему от этих мыслей чувствовал себя таким счастливым, как будто сквозь него текло жидкое золото.

Она была такая же прилежная и ответственная, как миссис Грэнджер, только с легким характером.

– Во втором ряду, прямо под витаминами, – говорила она покупателю. – Идемте, я вам покажу.

Как-то раз она призналась Генри, что иногда дает человеку вдоволь походить по аптеке и только потом спрашивает, чем ему помочь.

- Понимаете, люди тогда могут найти что-нибудь для себя нужное, хотя они и не догадывались, что им это было нужно. А у вас продажи вырастут.

Луч зимнего солнца, преломляясь на стеклянной полке с косметикой, прямоугольником ложился на пол; полоска деревянного пола сияла, словно медовая.

Он одобрительно приподнял брови:

- Повезло же мне, Дениз, когда вы впервые переступили этот порог.

Она тыльной стороной ладони подтолкнула очки на переносицу и прошлась тряпкой по баночкам с мазями.

Джерри Маккарти, паренек, привозивший медикаменты из Портленда раз в неделю, а если требовалось, то и чаще, тоже иногда перекусывал с ними в дальней комнате. Ему было восемнадцать, только-только после школы. Большой, толстый увалень с гладким лицом, так сильно потевший, что пятна расплывались по рубашке, как будто у бедняги протекло грудное молоко. Сидя на упаковочном ящике – колени доставали до ушей, – он уминал сэндвич, из которого вылетали щедро сдобренные майонезом куски яичного салата или тунца и приземлялись на рубашку. Генри не раз видел, как Дениз протягивала парню бумажное полотенце.

- Со мной тоже такое бывает, – услышал он однажды. – Каждый раз, когда я ем сэндвич, в котором есть хоть что-то, кроме мяса, я вся перемазываюсь с головы до ног.

Это была явная неправда. Дениз была чистюля – чистенькая, как белая тарелка, хоть и такая же простенькая.

- Добрый день, – говорила она, сняв телефонную трубку. – Аптека «Городок», чем я могу вам помочь?

Точно девочка, играющая во взрослую.

А потом было так: однажды утром понедельника, в насквозь промерзшей за выходные аптеке, он, открывая вход для покупателей, спросил:

– Ну, как прошли выходные, Дениз?

Накануне Оливия отказалась идти в церковь, и Генри, что было ему не свойственно, говорил с нею резко.

– Человек всего-навсего просит жену пойти с ним в церковь, – слышал он собственный голос будто со стороны, стоя на кухне в трусах и глядя брюки. – Неужели он слишком многого хочет?

Если он пойдет без нее, все сразу подумают, что семейная жизнь у них не задалась.

– Да, черт возьми, именно что слишком много! – Оливия чуть ли не брызгала слюной, вся ее ярость выплеснулась наружу. – Ты представить себе не можешь, как я устаю: целый день уроки, потом эти идиотские совещания у кретина-директора! Потом по магазинам. Потом готовка. Глажка. Стирка. Уроки с Кристофером! А ты... – Она стояла, вцепившись в спинку стула в столовой; темные волосы, спутанные со сна, падали на глаза. – Ты, мистер Старший Дьякон Святоша Всеобщий Любимчик, хочешь отнять у меня воскресное утро! Хочешь, чтоб я сидела среди этих надутых снобов! – Она вдруг, очень резко, опустилась на этот самый стул. – Как мне это все осточертело, – сказала она спокойно. – Просто до смерти.

Тьма прогрохотала сквозь него, душа словно задышалась в дегте. Но утром в понедельник Оливия заговорила с ним как ни в чем не бывало:

– На прошлой неделе у Джима в машине стояла такая вонь, как будто там кого-то вырвало. Надеюсь, он ее помыл.

Джим О'Кейси преподавал вместе с Оливией и из года в год подвозил ее и Кристофера в школу.

– Будем надеяться, – сказал Генри, и тем самым ссора была исчерпана.

– Ой, выходные прошли прекрасно, – сказала Дениз, и ее маленькие глазки смотрели на него сквозь очки с такой детской радостью, что сердце его готово было расколоться надвое. – Мы были у родителей Генри и вечером копали картошку. В свете фар. Искать картошку в холодной земле – это как пасхальные яйца разыскивать!

Он перестал распаковывать коробку с пенициллином и обернулся к Дениз. Покупателей еще не было, под окном шипел радиатор.

– Как это здорово, Дениз, – сказал он.

Она кивнула и провела рукой по полке с витаминами. На лице ее мелькнуло что-то похожее на страх.

– Я замерзла и тогда пошла и села в машину, смотрела, как Генри копает картошку, и думала: «Это чересчур хорошо, чтобы быть правдой».

Удивительно, подумал он, что же в ее юной жизни приучило ее не доверять счастью. Может, болезнь матери...

– У вас впереди много-много лет счастья, Дениз. Наслаждайтесь им спокойно.

Или, может быть, подумал он, снова поворачиваясь к коробкам, все дело в том, что если ты католик, то тебя заставляют терзаться чувством вины по любому поводу.

Следующий год – был ли он самым счастливым в жизни Генри? Именно так он частенько думал, хотя и знал, что глупо утверждать такое про какой бы то ни было год жизни, и все же в его памяти именно этот год сохранился как блаженная пора, когда не думается ни о начале, ни о конце и когда он ехал в аптеку во мгле зимнего утра, а потом в пробивающемся свете утра весеннего, а впереди во всю ширь сияло лето, маленькие радости его работы своей простотой наполняли его до краев. Когда Генри Тибодо заезжал на гравийную парковку, Генри Киттеридж часто выходил открыть и придержать дверь для Дениз и кричал: «Привет, Генри», и Генри Тибодо высовывался из окна машины и кричал в ответ: «Привет, Генри» – с широченной улыбкой на лице, озаренном

приветливостью и добродушием. А иногда это был просто приветственный взмах рукой: «Генри!» И второй Генри отвечал: «Генри!» Этот ритуал доставлял удовольствие и им обоим, и Дениз, и она, словно футбольный мячик, которым они легонько перебрасывались, ныряла внутрь аптеки. Ручки ее, когда Дениз снимала перчатки, были по-детски тоненькими, но когда она нажимала на клавиши кассового аппарата или опускала товар в белый пакетик, это уже были ловкие, изящные руки взрослой женщины – руки, которые (представлял Генри) нежно касаются любимого мужа, которые когда-нибудь будут с тихой женской уверенностью скреплять булавкой пеленку, остужать пылающий жаром лобик, класть под подушку подарок от зубной феи.

Наблюдая за ней, следя, как она подталкивает очки, сползшие на переносицу, когда читает прейскурант, Генри думал, что она – само вещество Америки, сама ткань ее; потому что происходило все как раз тогда, когда начинались все эти дела с хиппи, и, читая в «Ньюсуик» про марихуану и свободную любовь, Генри чувствовал беспокойство, которое мгновенно рассеивалось при одном только взгляде на Дениз. «Мы катимся ко всем чертям, точь-в-точь древние римляне, – торжествующе заявляла Оливия. – Америка протухла, как огромный шмат сыра». Но Генри по-прежнему верил, что победит умеренность, ведь в своей аптеке он изо дня в день работал рядом с девушкой, чьей единственной мечтой было строить семью с любимым мужем. «Эмансипация меня не интересует, – как-то сказала она. – Я хочу вести хозяйство и заправлять постели». И все же, если бы у Генри была дочка (а он бы очень хотел дочку), он предостерег бы ее от такого. Он бы сказал ей: хорошо, конечно, заправляй постели, но найди способ занять голову, не только руки. Однако Дениз не была ему дочерью, и он сказал ей, что создавать семейный уют – благородное дело, и мельком подумал о той свободе, которая идет рука об руку с заботой о ком-то, кто тебе не родня по крови.

Генри восхищало ее простодушие, чистота ее мечтаний, но это, разумеется, не значило, что он был в нее влюблен. Больше того, эта ее природная сдержанность всколыхнула в нем новую, мощную волну страсти к Оливии. Резкие суждения Оливии, ее полные груди, бурные перепады настроения, внезапный низкий раскатистый смех – все это пробуждало в нем какое-то новое, мучительное желание, и порой, когда он погружался в нее в ночной тьме, ему представлялась не Дениз, а, странным образом, ее сильный молодой муж – неукротимость молодого мужчины, который отдается животной силе обладания, – и это приводило Генри Киттериджа в невероятное неистовство, как будто, любя свою жену, он вместе со всеми мужчинами мира любил всех женщин, таящих глубоко в себе темную, мшистую тайну земли.

– О господи, – говорила Оливия, когда он скатывался с нее.

В колледже Генри Тибодо играл в футбол – как и Генри Киттеридж.

– Здорово было, правда? – спросил его однажды молодой Генри. Он приехал за Дениз чуть раньше времени и зашел в аптеку. – Слышать, как вопят трибуны. Видеть хороший пас и понимать, что ты его возьмешь. Ох, как же я это любил! – Он широко улыбнулся, его чистое лицо, казалось, излучало преломленный свет. – Обожал просто.

– Подозреваю, я играл куда хуже вас, – сказал Генри Киттеридж.

Он неплохо бегал и прыгал, но по-настоящему хорошим игроком так и не стал – не хватало агрессии. Ему было стыдно вспоминать, как перед каждой игрой на него накатывал страх. И какое облегчение он испытал, когда его отметки поползли вниз и спорт пришлось бросить.

– Да я не так уж хорошо играл, – сказал Генри Тибодо, потирая затылок большой ладонью. – Просто мне очень нравилось.

– Хорошо он играл, – вставила Дениз, надевая пальто. – Даже отлично. У чирлидерш был особый танец, специально для него одного. Пойдем же, Тибодо, пойдем, – позвала она застенчиво и с гордостью.

– Кстати, – сказал Генри Тибодо, направляясь к двери, – мы скоро пригласим вас с Оливией на ужин.

– Ох, да что вы, не стоит беспокоиться.

Тогда, раньше, Дениз написала Оливии благодарственное письмо своим аккуратненьким мелким почерком. Оливия пробежала письмо взглядом и щелчком отправила через стол мужу.

– Почерк такой же осторожный, как она сама, – сказала Оливия. – В жизни не встречала такого неказистого ребенка. Зачем она носит серое и бежевое, при ето бледности?

- Не знаю, - подхватил Генри с воодушевлением, как будто и сам об этом задумывался. Но он не задумывался.

- Простушка, - припечатала Оливия.

Но Дениз вовсе не была простушкой. Она быстро считала в уме, она помнила все, что рассказывал ей Генри о лекарствах. В университете она специализировалась по зоологии и была знакома с молекулярными структурами. Иногда в перерыв она сидела на ящике в дальней комнате с «мерковским» медицинским пособием на коленях. Ее детское личико, в очках становившееся серьезным, принимало сосредоточенное выражение, коленки торчали, плечи были сгорблены. Симпатичная, мелькало у него в голове, когда он поглядывал на нее в дверной проем, проходя мимо. Иногда он окликал ее:

- Все хорошо, Дениз?

- Да, все в порядке, спасибо!

И все время, пока он переставлял пузырьки и клеил этикетки, улыбка не сходила с его лица. Характер Дениз и его собственный ладили между собой так же хорошо, как аспирин с ферментом СОХ-2: весь день Генри проживал без боли. Приятное шипение радиаторов, мелодичное позвякивание колокольчика над дверью, когда кто-то входил в аптеку, скрип деревянных половиц, щелканье кассового аппарата, - в те дни Генри порой казалось, что аптека похожа на здоровую автономную нервную систему в рабочем, спокойном состоянии.

А вечерами у него начинались выбросы адреналина.

- Я только и делаю, что готовлю, убираю и подбираю за всеми! - срывалась на крик Оливия, с грохотом швыряя на стол миску с тушеной говядиной. - А другие только сидят с вытянутыми мордами и ждут, когда я их обслужу!

От тревоги у него начинало покалывать в руках.

- Может быть, тебе стоит больше помогать по дому? - говорил он Кристоферу.

– Как ты смеешь ему указывать? Ты понятия не имеешь, что ему приходится терпеть на обществоведении! Потому что тебе плевать! – орала Оливия ему в лицо, а Кристофер молчал, криво ухмыляясь. – Джим О’Кейси и то больше сочувствует ребенку, чем ты! – Оливия шваркнула салфеткой по столу.

– Слушай, ну честное слово, Джим все-таки работает в школе и видит вас с Крисом каждый день. Так что там с обществоведением?

– Да всего-навсего то, что учитель у него – чертов кретин, а Джим печенками это чувствует, – сказала Оливия. – Ты тоже видишь Кристофера каждый день. Но ты ничего о нем не знаешь, тебе уютно в твоём мирке с подружкой-простушкой.

– Она отличный работник, – ответил Генри.

Но с утра настроение Оливии обычно бывало не таким темным и мрачным, и пока Генри ехал на работу, в нём возрождалась надежда, которая накануне вечером казалась навек угасшей. В аптеке к мужчинам относились доброжелательнее.

Дениз спросила Джерри Маккарти, собирается ли он поступать в колледж.

– Не знаю, вряд ли. – Джерри покраснел; может, он был слегка влюблен в Дениз, а может, ощущал себя рядом с ней ребенком – этот мальчик с пухлыми запястьями и брюшком, все еще живущий с родителями.

– А ведь есть вечернее обучение, – жизнерадостно сказала Дениз. – Сразу после Рождества можно поступать. Запишись хотя бы на один курс. У тебя получится! – Дениз ободряюще кивнула ему и выразительно посмотрела на Генри, который тоже кивнул.

– Это верно, Джерри, – добавил Генри, прежде не обращавший на паренька особого внимания. – На кого тебе хотелось бы учиться?

Парень пожал толстыми плечами.

– Ну что-то же тебя интересует.

– Вот это. – И он показал на коробки с упаковками таблеток, которые недавно внес через заднюю дверь.

И, как ни поразительно, он записался на курс естественных наук, а когда весной получил высший балл, Дениз сказала: «Стой здесь, никуда не уходи!» – и вернулась из магазина с маленьким тортом в коробке: «Генри, давайте же скорей отпразднуем, пока телефон не зазвонил!»

Заталкивая кусок торта в рот, Джерри сообщил Дениз, что в прошлое воскресенье ходил к мессе и молился о том, чтобы хорошо сдать экзамен.

Вот что поражало Генри в католиках. Он чуть не сказал: «Джерри, это не Бог получил за тебя высший балл, это ты сам!» – но тут Дениз спросила:

– Ты каждое воскресенье ходишь к мессе?

Мальчик с растерянным видом принялся слизывать с пальцев глазурь.

– Нет, но теперь буду, – сказал он, и Дениз рассмеялась, и Джерри, розовощекий и сияющий, тоже рассмеялся.

Сейчас осень, ноябрь, и прошло столько лет, что этим воскресным утром Генри, причесавшись, сначала вынимает из черных пластмассовых зубьев седые волоски и только потом прячет расческу в карман. Перед тем как отправляться в церковь, он разводит огонь в печи для Оливии.

– Принесешь свежих сплетен, – велит ему Оливия, оттягивая ворот свитера и заглядывая в большую кастрюлю, где кипят и булькают яблочные дольки. Она варит мусс из последних яблок этого года, и до Генри на миг долетает аромат – сладкий, знакомый, всколыхнувший в нем какое-то тайное древнее желание, – прежде чем он, в твидовом пиджаке и галстук, успевает шагнуть за порог.

– Постараюсь, – говорит он.

Похоже, никто больше не ходит в церковь в костюме. Да и вообще почти никто больше не ходит в церковь регулярно, таких прихожан осталась всего горстка. Генри это огорчает и тревожит. За последние пять лет у них сменилось два

проповедника, и ни один не отличался особой вдохновенностью. Нынешний – бородатый и без облачения – тоже, подозревает Генри, долго не продержится. Молодой, с растущим семейством, наверняка захочет продвигаться по службе. Что же до скудной паствы, они, наверное, – и этого Генри больше всего боится – тоже ощущают то, во что он сам запрещает себе поверить: эти еженедельные собрания уже не приносят подлинного утешения. Теперь, когда они склоняют головы или поют псалом, не возникает чувства – по крайней мере, у него, у Генри, – что Бог осеняет их своим присутствием. А Оливия и вовсе стала откровенной атеисткой. Он не знает, когда это произошло. Все было не так, когда они только поженились; обсуждая препарирование животных на биологии, они говорили о том, как совершенна дыхательная система – подлинное чудо, творение высшего разума.

Он едет по грунтовке, потом поворачивает на асфальтированную дорогу, ведущую в город. Клены опустили голые руки, на них остались лишь одинокие багряные листочки, листья дубов коричневые, сморщенные; иногда сквозь деревья на миг открывается вид на плоский стальной залив под пасмурным ноябрьским небом.

Он проезжает место, где раньше была его аптека. Теперь там другая – большая, сетевая, с огромными стеклянными дверями, которые сами разъезжаются в стороны; она вытеснила и старенькую аптеку, и продуктовый магазинчик, и даже парковку на заднем дворе, где Генри с Дениз после рабочего дня долго стояли возле мусорных баков, прежде чем разойтись по своим машинам. Все это теперь занято огромным заведением, в котором продаются не только лекарства, но и гигантские рулоны бумажных полотенец и большие коробки с мусорными пакетами всех размеров. Даже тарелки и чашки, даже кухонные лопаточки и кошачий корм. И рядом деревья вырубili, чтобы построить парковку. Ко всему привыкаешь, думает он, только привыкнуть все равно невозможно.

Кажется, очень много времени прошло с тех пор, как Дениз стояла, дрожа от зимнего холода, пока наконец не села в свою машину. Какой же она была юной! Как больно вспоминать растерянность на ее юном личике; и все же он и сейчас помнит, как умел вызывать у нее улыбку. Теперь она так далеко, в Техасе, – так далеко, словно в другой стране, – и ей столько же лет, сколько тогда было Генри. Однажды вечером она уронила красную рукавичку, он наклонился, поднял, расстегнул пуговку и смотрел, как она просовывает внутрь маленькую руку.

Белое здание церкви стоит возле голых кленов. Он знает, почему мысли о Дениз вдруг так пронзительно остры. На прошлой неделе от нее не пришла открытка ко дню рождения, как приходила, всегда вовремя, последние двадцать лет. На открытке она пишет поздравление и иногда еще пару строк – в прошлом году, например, упомянула, что у Пола, перешедшего в старшую школу, ожирение. Это ее собственное слово: «У Пола теперь совсем серьезная проблема: он весит триста фунтов, это ожирение». Ни слова о том, что она или ее муж собираются с этим делать, если тут вообще можно что-то «делать». Младшие девочки, близняшки, занимаются спортом, и им уже начинают звонить мальчишки, «что приводит меня в ужас», написала Дениз. Она никогда не добавляет в конце «с любовью», только подпись «Дениз» ее мелким аккуратным почерком, ее маленькой рукой.

На гравийной парковке у церкви Дейзи Фостер как раз вышла из своей машины и шутливо разевает рот, изображая радостное изумление, – радость, впрочем, непритворная, Генри это знает: Дейзи всегда приятно его видеть. У Дейзи два года назад умер муж, отставной полицейский, старше Дейзи на двадцать пять лет: курение свело его в могилу; она остается все такой же хорошенькой, такой же изящной, с добрыми голубыми глазами. Что теперь с ней будет? Наверное, думает он, пробираясь на свое обычное место на средней скамье, женщины гораздо храбрее мужчин. Стоит ему представить, что Оливия может умереть и оставить его одного, как его охватывает невыносимый ужас.

И тогда его мысли снова возвращаются к аптеке, которой больше нет.

– Генри в выходные едет на охоту, – сказала Дениз однажды ноябрьским утром. – А вы охотитесь, Генри? – Она готовила к работе выдвижной ящичек для денег и не поднимала взгляда.

– Когда-то охотился, – ответил Генри. – Теперь я для этого слишком стар.

В тот единственный раз, в юности, когда он застрелил лань, ему стало тошно при виде того, как закачалась голова прекрасного испуганного животного, а потом тонкие ноги лани сложились пополам и она рухнула на лесную подстилку. «Ох, ну ты и тряпка», – сказала тогда Оливия.

– Он едет с Тони Кьюзио. – Дениз вставила ящичек в кассовый аппарат и принялась выравнивать и без того аккуратные стопки жевательных резинок и пастилок для свежести дыхания на прилавке у кассы. – Это его лучший друг с пяти лет.

– А чем этот Тони занимается?

– Он женат, у него двое детей. Работает в «Мидкост пауэр», и они с женой все время ссорятся. – Она подняла взгляд на Генри: – Только не говорите никому, что я вам рассказала.

– Не скажу.

– Она очень нервная, чуть что – кричит. Ох, не хотела бы я так жить.

– Да уж, такая жизнь никуда не годится.

Зазвонил телефон, и Дениз, шутливо развернувшись на носочках, пошла отвечать.

– Аптека «Городок». Доброе утро. Чем я могу вам помочь? – И после паузы: – Да, у нас есть мультивитамины без железа... Да, конечно, будем рады вас видеть.

В перерыве на ланч Дениз рассказывала Джерри, этому здоровяку с детским личиком:

– Когда мы с мужем еще только встречались, у него все разговоры были про Тони. Про их детские проделки. Однажды они ушли на целый день и пропали, а вернулись, когда уже совсем стемнело, и мама Тони сказала ему: «Тони, я так волновалась, я готова была тебя убить!» – Дениз сняла пушинку с рукава своего серого свитера. – Мне это всегда казалось ужасно смешным. Сперва волнуешься, жив ли твой ребенок, а потом говоришь, что убьешь его.

– Погодите, сами увидите, – сказал Генри Киттеридж, огибая принесенные Джерри коробки. – За них начинаешь волноваться с первого насморка – и на всю жизнь.

– Я уже жду не дождусь, – сказала Дениз, и до него впервые дошло, что скоро у нее пойдут дети и она больше не будет работать в его аптеке.

– А тебе он нравится? – неожиданно спросил Джерри. – Этот Тони. Вы с ним ладите?

– Да, очень нравится, – ответила Дениз. – К счастью. А то я боялась с ним знакомиться. А у тебя есть лучший друг детства?

– Наверное, – сказал Джерри, и кровь прилила к его гладким толстым щекам. – Но у нас, как бы, разошлись пути.

– А моя лучшая подруга, – сказала Дениз, – когда мы перешли в старшую школу, стала как-то чересчур быстро взрослеть. Хочешь еще газировки?

Суббота дома, на ланч – сэндвичи с крабовым мясом, запеченные с сыром. Кристофер как раз подносил сэндвич ко рту, когда зазвонил телефон и Оливия пошла брать трубку. Кристофер, хотя его никто не просил ждать, застыл с сэндвичем в руке. У Генри в мозгу этот момент запечатлелся как фотокадр: сын за столом замер, будто что-то почувствовал, и голос Оливии в соседней комнате.

– Ох, бедная ты детка, – сказала она голосом, который Генри никогда не забудет, полным такого смятения, что вся ее внешняя оливиность облетела, как листья. – Бедная, бедная детка.

И тогда Генри встал и пошел в ту комнату, и дальше он уже почти ничего не помнил, только еле слышный тоненький голос Дениз в трубке и потом какой-то короткий разговор с ее свекром.

Похоронный обряд проводили в церкви Пресвятой Богородицы Сокрушения, в трех часах езды от родного городка Генри Тибодо. Церковь была большая и темная, с огромными витражными окнами, священник в многослойном белом одеянии размахивал кадиллом; когда Оливия и Генри приехали, Дениз уже сидела в первом ряду с родителями. Гроб был закрыт, и накануне вечером, когда проходило прощание, он тоже был закрыт. Церковь была почти вся заполнена народом. Генри, сидя рядом с Оливией в задних рядах, никого не узнавал, пока

не ощутил рядом чье-то безмолвное присутствие, кто-то большой навис над ним, и, подняв взгляд, он увидел Джерри Маккарти. Генри с Оливией подвинулись, освобождая ему место.

– Я прочитал в газете, – прошептал Джерри, и Генри на миг опустил ладонь на его толстое колено.

Служба тянулась и тянулась: чтения из Библии, потом другие чтения, потом долгая и тщательная подготовка к причастию. Священник брал скатерти, разворачивал, накрывал ими стол, потом люди стали подниматься с мест, ряд за рядом, и подходить к столу, и каждый становился на колени, открывал рот и получал облатку, и каждый делал глоток из одного и того же большого серебряного кубка, а Генри и Оливия оставались сидеть где сидели. Несмотря на чувство нереальности происходящего, Генри был потрясен негигиеничностью этой процедуры, когда все пьют из одной чаши, – и еще цинизмом, с каким священник, после того как все остальные закончили, запрокинул голову с хищным крючковатым носом и допил все до последней капли.

Шестеро молодых мужчин понесли гроб по центральному проходу. Оливия ткнула Генри локтем, и он кивнул. Один из шестерых – из пары, шедшей последней, – был так бледен и на лице его было написано такое потрясение, что Генри испугался, как бы он не уронил гроб. Это был Тони Кьюзио, который всего лишь несколько дней назад, приняв в предрассветной тьме Генри Тибодо за оленя, нажал на спусковой крючок и убил своего лучшего друга.

И кто, спрашивается, должен был ей помочь? Отец ее жил далеко, где-то на севере Вермонта, с тяжело больной женой; братья с женами – в нескольких часах пути; свекор и свекровь окаменели от горя. Она пробыла у них две недели; вернувшись на работу, она рассказала Генри, что не может у них больше оставаться. Они были к ней добры, но она слышала, как свекровь плачет ночами, и от этого ее начинало трясти, ей нужно побыть одной, выплакаться наедине с собой.

– Конечно, Дениз.

– Но я не могу вернуться в наш трейлер.

- Да. Я понимаю.

Той ночью он сел в кровати и обхватил подбородок ладонями.

- Оливия, - сказал он, - эта девочка абсолютно беспомощна. Представляешь, она не водит машину, она никогда в жизни не выписывала чек...

- Как такое может быть, - сказала Оливия, - чтобы человек вырос в Вермонте и не умел водить машину?

- Не знаю, - признался Генри. - Я понятия не имел, что она не умеет.

- Ну ясно, почему Генри на ней женился. Я раньше не понимала, пока не увидела на похоронах его мать, - ох, бедная. Но в ней ни капли привлекательности.

- Вообще-то она была убита горем.

- Это я понимаю, - терпеливо сказала Оливия. - Я просто пытаюсь тебе сказать, что Генри женился на собственной матери. Мужчины часто так делают. - И после паузы: - Но ты - нет.

- Она должна научиться водить, - сказал Генри. - Это первым делом. И ей нужно где-то жить.

- Запиши ее на курсы вождения.

Но он вместо этого стал учить ее сам, на своей машине, на проселочных грунтовках. Выпал снег, но на дорогах, ведущих к воде, его раскатали рыбацкие грузовики.

- Вот, хорошо. Теперь медленно выжимайте сцепление.

Машина взбрыкнула, как мустанг, и Генри ухватился за приборную панель.

- Ой, извините, - прошептала Дениз.

– Нет, нет. Вы молодец.

– Мне просто очень страшно. Господи.

– Потому что вы начинаете с нуля. Но, Дениз, автомобиль водят даже полные бестолочи.

Она посмотрела на него и вдруг прыснула, и он тоже неожиданно для себя рассмеялся; она уже хохотала в полный голос, к глазам подступили слезы, и ей пришлось остановить машину и взять белый платок, который он ей протянул. Она сняла очки, и он, отвернувшись, смотрел в окно, пока она вытирала глаза. Из-за снега лес вдоль дороги был похож на черно-белый рисунок. Даже растопыренные лапы вечнозеленых елей казались черными из-за черноты стволов.

– Ладно, – сказала Дениз и снова завела машину, и Генри снова бросило вперед. Если она спалит сцепление, Оливия придет в ярость.

– Все в полном порядке, – сказал он Дениз. – Терпение и труд все перетрут.

Через несколько недель он повез ее в Огасту, где она сдала экзамен по вождению, а потом поехал с ней выбирать машину. Деньги у нее были. Генри Тибодо, как оказалось, застраховал свою жизнь на крупную сумму, так что хотя бы об этом можно было не беспокоиться. А теперь Генри Киттеридж помог Дениз застраховать автомобиль, объяснил, как совершать выплаты. А еще раньше он возил ее в банк, и она впервые в жизни завела себе счет. Он показал ей, как выписывают чек.

Он пришел в ужас, когда однажды на работе она походя упомянула сумму, которую отправила церкви Пресвятой Богородицы Сокрушения, чтобы они каждую неделю ставили свечи за упокой души Генри и раз в месяц служили по нему мессу. Но вслух он сказал: «Это замечательно, Дениз». Она похудела, и когда в конце рабочего дня он стоял на темной парковке и в свете фонаря на фасаде смотрел, как она садится в машину, у него сжалось сердце от того, с какой тревогой она вглядывается вдаль поверх руля, и когда он сел в свою машину, на него набросилась тоска, которую он не мог стряхнуть с себя весь вечер.

- Что ж тебе так нейдет? - спросила Оливия.

- Дениз, - ответил он. - Она совсем беспомощна.

- Люди не так беспомощны, как нам кажется, - ответила Оливия. И добавила, грохнув крышкой по кастрюле на плите: - Господи, этого-то я и боялась.

- Чего ты боялась?

- Да выгуляй уже этого чертова пса, - сказала Оливия. - И садись ужинать.

Квартира нашлась в маленьком новом жилом комплексе за городом. Генри и свекор Дениз помогли ей перевезти вещи. Квартира была на первом этаже, и света было маловато.

- Ну что ж, по крайней мере тут чисто, - сказал Генри, наблюдая, как Дениз открывает дверцу холодильника, как вглядывается в пустоту его новенького нутра. Она молча кивнула и закрыла дверцу. Потом тихо сказала:

- Я никогда раньше не жила одна.

Он смотрел, как она ходит по аптеке в отрыве от реальности; он внезапно обнаружил, что собственная его жизнь невыносима - в том смысле, какого он никогда не ожидал. Чувство это было сильным до нелепости и пугало его: можно было наделать ошибок. Он забыл предупредить Клиффа Мотта, что теперь, когда они добавили к наперстянке мочегонное, нужно есть бананы - источник калия. У той дамы, Тиббетс, была ужасная ночь после эритромицина - неужели он не сказал ей, что его надо принимать во время еды? Он работал медленно, пересчитывал таблетки по два, а то и по три раза, прежде чем опускать их в пузырьки, тщательно проверял все рецепты, которые печатал. Дома, когда Оливия что-то говорила, он поедал ее глазами, чтобы она видела, как внимательно он ее слушает. Но он ее не слушал. Оливия была незнакомкой, наводившей на него страх, а сын, казалось, все чаще глядит на него с кривой ухмылкой.

– Вынеси мусор! – крикнул Генри однажды вечером, когда, открыв дверцу под кухонной раковиной, увидел пакет, полный яичной скорлупы, собачьей шерсти и скомканной воценой бумаги. – Это единственное, о чем мы тебя просим, а ты даже этого не делаешь!

– Хорош орать, – сказала Оливия. – Думаешь, так ты больше похож на мужчину? Нет же, ты абсолютно жалок.

Настала весна. Дни удлинлись, остатки снега растаяли, дороги были мокрыми. Форзиции запустили в зябкий воздух желтые облачка, потом рододендроны вызывающе вскинули красные головы. Он смотрел на все это глазами Дениз и думал, что и красота бывает оскорбительной. Проходя мимо фермы Колдуэллов, он увидел написанную от руки табличку «КОТЯТА В ХОРОШИЕ РУКИ» и на следующий день явился в аптеку с лотком для кошачьего туалета, кошачьим кормом и крошечным черным котенком с белыми лапками, как будто он наступил в миску со взбитыми сливками.

– Ой, Генри! – воскликнула Дениз, выхватила у него котеночка и прижала к груди.

Генри был счастлив невероятно.

Тапочек был еще совсем крошечным существом, поэтому Дениз брала его с собой в аптеку, где Джерри Маккарти приходилось держать его на толстой ладони, прижимать к пропитанной потом рубашке и говорить: «Да, да, ужасно милый, такой лапочка», пока Дениз наконец не избавляла его от этого маленького пушистого бремени. Она забирала Тапочка, терлась лицом о мохнатую мордочку, а Джерри наблюдал за этим, приоткрыв толстогубый блестящий рот. Джерри прошел еще два курса занятий в университете и снова получил высший балл по обоим. Генри и Дениз поздравили его между делом, словно рассеянные родители, на этот раз – без тортика.

У нее случались приступы маниакальной словоохотливости, за которыми следовали дни молчания. Иногда она выходила через заднюю дверь и возвращалась с опухшими глазами.

– Вы можете уезжать домой пораньше, если нужно, – сказал он ей.

Но она посмотрела на него с испугом:

- Нет! Господи, нет. Я только здесь и хочу быть.

Лето в тот год было жарким. Он помнит, как она стояла у окна возле вентилятора, уставившись сквозь очки на подоконник, тонкие волосы за спиной волнообразно взлетали. Застывала и стояла так по несколько минут. Уехала на неделю к одному из братьев. Потом еще на неделю к родителям. Вернувшись, сказала: «Вот теперь я там, где хочу быть».

- Ну и как ей найти себе нового мужа в этом крошечном городке? - спросила Оливия.

- Не знаю. Я и сам об этом думал, - признался Генри.

- Кто-то другой уехал бы да поступил в иностранный легион, но это не про нее будь сказано.

- Да уж. Не про нее.

Настала осень, и он ее страшился. В годовщину смерти Генри Тибодо Дениз отправилась к мессе со свекром и свекровью. Он ощутил облегчение, когда этот день прошел, когда прошла эта неделя, за ней другая, но впереди маячили праздники, и он ожидал их с внутренним трепетом, как будто нес в руках что-то такое, что нельзя было опустить на землю. Когда однажды во время ужина зазвонил телефон, он пошел отвечать на звонок с тревогой и дурным предчувствием. Голос Дениз в трубке задыхался и тоненько повизгивал: Тапочек выбежал из дома, а она не заметила, и выехала в магазин, и переехала кота.

- Ну поезжай, - сказала Оливия. - Бога ради. Давай, утешай свою подружку.

- Перестань, Оливия, - сказал Генри. - Необязательно так себя вести. Молодая женщина, потерявшая мужа, задавила своего кота. Где, ради всего святого, твое милосердие? - Его трясло.

- Она бы не задавила никакого чертова кота, если бы ты ей его не подарил.

Он привез с собой валиум. В тот вечер она лежала и плакала, а он беспомощно сидел рядом с нею на тахте. Его мучительно тянуло обхватить ее узенькие плечи, но он сидел прямо, держа руки на коленях. С кухонного стола долетал свет маленькой лампы. Дениз высморкалась в его белый носовой платок и сказала: «Ох, Генри. Генри». Он не знал, какого Генри она имела в виду. Она подняла на него взгляд, маленькие глазки так опухли, что превратились в щелочки; она сняла очки, чтобы прижать к глазам платок.

– Я все время с вами мысленно разговариваю, – сказала она, и снова надела очки, и прошептала: – Простите.

– За что?

– За то, что я все время с вами мысленно разговариваю.

– Да ну что вы.

Он уложил ее спать, как ребенка. Она послушно пошла в ванную, переоделась в пижаму и легла в постель, натянув лоскутное одеяло до подбородка. Он сидел на краю кровати и гладил ее по волосам, ожидая, пока валиум подействует. Ее веки опустились, и она повернула голову набок и прошептала что-то, чего он не разобрал.

Он медленно ехал домой по узким дорогам, тьма казалась живой и зловещей и как будто заглядывала в окна машины. Он представлял, как они с Дениз живут в маленьком домике где-то на севере штата. Он найдет там работу, Дениз родит ребенка. Маленькую девочку, которая будет его обожать, – девочки обожают своих отцов.

– Ну что, утешитель вдов, как она там? – спросила Оливия с кровати в темноте.

– Ей плохо, – ответил он.

– Как и всем нам.

На следующее утро он и Дениз работали молча, и это было сближавшее их молчание. Если она была у кассы, а он за прилавком, он все равно ощущал ее

незримое присутствие – как будто она стала Тапочком, или он им стал, – их внутренние «я» терлись друг о друга. В конце дня он сказал: «Я буду о вас заботиться» – голосом, хриплым от переполнявших его чувств.

Она остановилась напротив и кивнула. Он застегнул ей молнию на куртке.

И по сей день он не знает, о чем тогда думал. Вообще-то многое из этого он и вспомнить толком не может. Что Тони Кьюзио несколько раз приезжал к ней в гости. Что она сказала Тони, чтобы он не разводился, иначе он никогда больше не сможет заключить церковный брак. Ревность и гнев пронзали ему сердце, когда он представлял, как Тони сидит поздно ночью в маленькой квартирке Дениз, умоляя о прощении. Захлестывало чувство, что он погружается в липкую паутину, которая все сильнее обматывается вокруг него. Что он хочет, чтобы Дениз продолжала его любить. И она продолжала. Он видел это в ее глазах, когда она уронила красную рукавичку, а он ее поднял и расстегнул. Я все время с вами мысленно разговариваю. Боль была острой, тончайшей, невыносимой.

– Дениз, – сказал он однажды вечером, когда они закрывали аптеку. – Вам нужны друзья.

Лицо ее вспыхнуло. Она надела куртку резкими, порывистыми движениями.

– У меня есть друзья, – выпалила она.

– Конечно, есть. Но здесь, в городе. – Он ждал у двери, пока она сходит за сумочкой. – А вы могли бы поехать на танцы в Грейндж-Холл, в ассоциацию фермеров. Мы с Оливией раньше ездили. Там очень симпатичные люди.

Она вышла, резко шагнув мимо него, лицо ее было влажным, кончики волос взлетели перед его глазами.

– Или, может, для вас это слишком старомодно, – неловко проговорил он уже на парковке.

– А я сама старомодная, – тихо ответила она.

– Ага, – сказал он так же тихо. – Я тоже.

За рулем по дороге домой, в темноте, он представлял, как сам танцует с Дениз в Грейндж-Холле. «Покружились, поворот, два шага вперед...» Ее лицо озаряет улыбка, ножка притопывает, маленькие ручки лежат на бедрах. Нет – это невозможно, невыносимо, и к тому же он правда испугался внезапной вспышки гнева, которую у нее вызвал. Он ничего не может для нее сделать. Не может заключить в объятия, поцеловать влажный лоб, спать с ней рядом, когда она в этой совсем детской фланелевой пижамке, как в ночь гибели Тапочка. Бросить Оливию было так же немыслимо, как отпилить себе ногу. В любом случае Дениз не захочет выходить за разведенного протестанта, да и он не стерпит ее католичества.

Они теперь мало разговаривали между собой, а дни шли. Он чувствовал исходящую от нее непримиримую холодность, в которой было что-то обличающее. Чего она от него ожидала, на что он заставил ее рассчитывать? И все же если она вскользь отмечала, что к ней заезжал Тони Кьюзио, или упоминала между делом, что была в кино в Портленде, в нем вздымалась ответная холодность и ему приходилось стискивать зубы, чтобы не осведомиться: «Говорите, слишком старомодны для танцев?» В голове у него в такие минуты мелькали слова «милые бранятся – только тешатся», и как же он это ненавидел.

А потом, так же внезапно, она сказала – обращаясь якобы к рыхлому Джерри Маккарти, который в те дни, слушая ее, как-то по-особому приосанивался и расправлял плечи, – но на самом-то деле она обращалась к Генри (он понял это по ее быстрому взгляду и по тому, как нервно она сжала руки):

– Моя мама, когда я еще была очень маленькая, а она тогда еще не заболела, пекла на Рождество такое особенное печенье. Мы его потом украшали глазурью и разноцветной посыпкой. Иногда мне кажется, что это была самая большая радость в моей жизни. – Голос дрогнул, глаза за очками заморгали.

И тогда он понял, что со смертью мужа она пережила еще и смерть собственного детства, она оплакивала утрату единственного своего «я», которое знала; оно ушло, уступив дорогу этой незнакомой, растерянной молодой вдове. И глаза его, поймав ее взгляд, смягчились.

Этот цикл повторялся вновь и вновь, словно качели – туда-обратно. Впервые за все годы работы фармацевтом он позволил себе снотворное, каждый день опускал таблетку в карман брюк.

– Все в порядке, Дениз? – спрашивал он, когда настало время закрывать аптеку. И она либо молча надевала куртку, либо говорила, кротко глядя на него: «Все в порядке, Генри. Вот и еще один день прошел».

Дейзи Фостер, вставая петь гимн, поворачивает голову и улыбается ему. Он кивает в ответ и открывает сборник. «Твердыня наша – вечный Бог, Он сила и защита...» Эти слова, эти звуки крошечного хора вселяют в него надежду и одновременно глубокую печаль. «Вы сможете кого-нибудь полюбить, вы научитесь», – сказал он Дениз, когда она подошла к нему в глубине зала в тот весенний день. Сейчас, опуская сборник гимнов в карман на спинке стоящей впереди скамьи и снова садясь, он вспоминает тот последний раз, когда видел ее. Они ездили на север навещать родителей Джерри и по пути заскочили к ним с Оливией. Они были с малышом, Полом. Вот что запомнилось Генри: Джерри говорит что-то саркастическое о том, как Дениз каждый вечер засыпает на тахте, иногда на всю ночь, до утра. Дениз отворачивается, смотрит на залив, плечи ее ссутулены, маленькие груди лишь слегка приподнимают ткань тонкого свитера с высоким воротом, но у нее появился живот, как будто она проглотила половинку баскетбольного мяча. Она больше не девочка, какой была, – девочки не остаются девочками вечно, – а утомленная мать, и ее некогда круглые щеки впали так же сильно, как выпучился живот, словно гравитация жизни уже придавливает ее к земле. Кажется, именно в этот момент Джерри резко сказал: «Дениз, выпрямись. И плечи расправь. – Он посмотрел на Генри и покачал головой: – Вот сколько раз я должен ей это повторять?»

«Поешьте чаудер, – сказал тогда Генри. – Оливия вчера вечером сварила». Но им было пора, и когда они уехали, он и слова не сказал об их визите, и Оливия тоже, как ни странно. Он никогда бы не подумал, что Джерри вырастет в такого мужчину – большого, опрятного (трусами и заботами Дениз), даже не такого уж и толстого, просто крупного мужчину с хорошей зарплатой, который говорит с женой таким тоном, каким Оливия иногда говорила с Генри. И больше он никогда ее не видел, хотя она, скорее всего, бывала в их краях. В своих открытках ко дню рождения, в тех нескольких дополнительных строчках она сообщила ему о смерти своей матери, потом, несколько лет спустя, о смерти отца. Наверняка она ездила на похороны. Думала ли она о нем? Заезжали ли они

с Джерри на могилу Генри Тибодо?

– Сколько зим, сколько лет! Ты свежа как первоцвет! – приветствует он Дейзи Фостер на парковке у церкви. Это их шуточка, он говорит это Дейзи годами, все из-за ее цветочного имени.

– Как там Оливия? – Голубые глаза Дейзи все такие же большие и красивые, и с лица ее не сходит улыбка.

– Оливия хорошо. Осталась дома поддерживать огонь в очаге. А у тебя что нового?

– А у меня появился поклонник. – Она произносит это шепотом, прикрывая рот рукой.

– Правда? Дейзи, но это же чудесно!

– Продает страховки в Хитуике, а по вечерам в пятницу возит меня на танцы.

«Что у тебя за прихоть – всех переженить? – рассердился однажды Кристофер, когда Генри спросил, как у того с личной жизнью. – Почему бы не оставить людей в покое? Что, если человек хочет жить один?»

Он не хочет, чтобы люди жили одни.

Дома Оливия кивает в сторону стола, где у горшка с африканской фиалкой лежит конверт – открытка от Дениз.

– Вчера пришло, – говорит Оливия. – Я забыла сказать.

Генри тяжело опускается на стул, вскрывает конверт ручкой, находит очки, вглядывается в текст. Приписка к поздравлению длиннее, чем обычно. В конце лета она сильно испугалась. Экссудативный перикардит, на поверку оказалось – ничего страшного. «Как всякий жизненный опыт, – написала она, – меня это изменило. Правильно расставило приоритеты. С тех пор каждый день моей жизни исполнен глубочайшей благодарности моей семье. Ничего на этом свете

нет важнее семьи и друзей, – вывела она своим аккуратным мелким почерком, своей маленькой рукой. – А мне Бог даровал и то и другое». И ниже: «С любовью», впервые за эти годы.

– Как она там? – спрашивает Оливия, пуская воду в раковину.

Генри смотрит на залив, на тощие елки по краю бухточки, и все это кажется ему прекрасным; в застывшей грации береговой линии, в легком колыпании волн он видит великолепие Божьего мира.

– У нее все в порядке, – отвечает он.

Не прямо сейчас, но скоро он подойдет к Оливии и положит ей руку на плечо. К Оливии, на чью долю тоже хватило горестей. Потому что он давно понял – после того как машина Джима О'Кейси перевернулась и Оливия неделями сразу после ужина отправлялась в постель и рыдала в подушку, – тогда Генри и понял, что Оливия любила Джима О'Кейси и что, наверное, он тоже ее любил, хотя Генри ни разу ни о чем ее не спросил и сама она тоже никогда и ничего не сказала – точно так же, как и Генри слова не сказал ей о том, как неотвязно и мучительно тянуло его к Дениз до того самого дня, когда Дениз пришла к нему и сказала, что Джерри сделал ей предложение, и он ответил: «Иди».

Он кладет открытку на подоконник. Не раз он задумывался о том, что она чувствует, когда выводит слова «Дорогой Генри». Были ли потом в ее жизни другие Генри? Об этом ему не узнать. Как не узнать и о том, что случилось с Тони Кьюзио и зажигают ли по-прежнему в церкви свечи за упокой души Генри Тибодо.

Генри встает, перед глазами у него на миг мелькает образ Дейзи Фостер, ее улыбка, когда она говорила о танцах. Облегчение, которое он только что испытал, узнав, что Дениз радуется той жизни, что раскинулась перед ней, внезапно и непонятно сменяется странным чувством утраты, будто у него отняли что-то очень важное.

– Оливия, – говорит он.

Она, должно быть, не слышит, потому что льется вода. Она уже не такая высокая, как раньше, и в талии стала гораздо шире. Шум воды стихает.

– Оливия, – повторяет он, и она оборачивается. – Ты ведь меня не бросишь, правда?

– Господи боже, Генри. Что ты несешь? У женщин от такого уши вянут. – Она быстро вытирает руки полотенцем.

Он кивает. Разве он мог бы сказать ей – он и не смог, – что главным во все те годы, пока он мучился виной из-за Дениз, стало то, что у него по-прежнему есть она, Оливия? Эта мысль невыносима, и через миг она улетучится, он отгонит ее от себя как ложную. Потому что кто же такое вытерпит, кто согласится признаться себе, что его вышибает из седла чужое счастье? Нет, это просто абсурд.

– У Дейзи появился друг, – говорит он. – Надо бы пригласить их в гости.

Прилив

По заливу гуляли белые барашки, и надвигался прилив, и слышно было, как вода тащит по дну камешки, те, что помельче. И еще слышалось треньканье тросов о мачты пришвартованных яхт. Чайки, пронзительно взвизгивая, пикировали за рыбьими головами, хвостами и сверкающей требухой, которую бросал им с причала мальчик, чистивший макрель. Все это Кевин видел и слышал, сидя в своей машине с приоткрытыми окнами. Машина стояла на травяном пятачке недалеко от марины – пристани для яхт. Немного дальше, на гравийной парковке, стояли два грузовика.

Сколько прошло времени, Кевин не знал.

В какой-то миг сетчатая дверь марины со скрежетом отворилась, потом захлопнулась, и Кевин стал смотреть, как человек в темных резиновых сапогах не спеша подходит к грузовику и забрасывает в кузов тяжелую бухту каната. Если он и заметил Кевина, то виду не подал, даже когда, выезжая задним ходом, повернул голову в его сторону. Они не могли знать друг друга в лицо. Кевин не был в этом городке с детства, он уехал в тринадцать лет, вместе с отцом и братом, и теперь он здесь такой же чужак, как любой турист. И все же, глядя на

изрезанный солнечными лучами залив, он чувствовал, до чего знаком ему этот вид; вот уж этого он не ожидал. Соленый воздух наполнял ноздри, кусты дикой розы с их белыми цветами приводили его в странное смятение, их шелковистые белые лепестки будто скрывали в себе печальное неведение.

Патти Хоу налила кофе в две белые кружки, поставила их на стойку, тихо произнесла «На здоровье» и вернулась раскладывать кукурузные маффины, которые только что передали через окошечко из кухни. Она видела человека, сидящего в машине, он там сидел уже добрых часа полтора, но люди иногда так поступают, выезжают из города, просто чтобы поглазеть на воду. И все же было в нем что-то такое, что вызывало у нее беспокойство. «Они идеальны», – сказала она повару, потому что верхушки маффинов были поджаристые по краям и золотистые, как восходящие солнца. Оттого что запах свежей выпечки не вызвал у нее тошноту, как за минувший год бывало дважды, ей сделалось грустно, печаль окутала ее, словно мягкий сумрак. В ближайшие три месяца даже не думайте, сказал им врач.

Сетчатая дверь открылась, потом со стуком захлопнулась. В большое окно Патти увидела, что тот мужчина в машине все так же сидит и смотрит на воду, и пока она наливала кофе пожилой паре, которая неспешно устраивалась на диванчике в кабинке, пока спрашивала, как у них дела этим чудесным утром, она вдруг поняла, кто он, этот человек, и что-то промелькнуло перед ней, словно тень, на миг закрывшая солнце. «Вот, пожалуйста», – сказала она посетителям и не стала больше смотреть в окно.

«Тогда почему бы Кевину, наоборот, не прийти к нам в гости?» – предложила мама, когда Патти, еще такая маленькая, что еле доставала макушкой до кухонной столешницы, мотала головой – мол, нет, нет, нет, я не хочу туда идти. Она его боялась: в садике он так отчаянно впивался ртом в собственную руку, что с запястья никогда не сходил блестящий диск кровоподтека, и мама его – высокая, темноволосая, с низким голосом – тоже наводила на нее страх. Сейчас, выкладывая кукурузные маффины на блюдо, Патти думала о том, до чего же благородным, почти идеальным был ответ ее собственной мамы. Да, Кевин, наоборот, пришел к ней в гости и терпеливо крутил скакалку, другой конец которой был обвязан вокруг дерева, а Патти прыгала и прыгала. Сегодня по пути с работы домой Патти заедет к маме и скажет: ты ни за что не угадаешь, кого я видела.

Мальчик на причале поднялся на ноги, в одной руке у него было желтое ведро, в другой нож. К нему метнулась чайка, и он взмахнул рукой с ножом и уже повернулся, чтобы подниматься по сходням, но тут показался мужчина, который бодрой походкой направлялся вниз.

– Сынок, положи нож в ведро, – крикнул мужчина, и мальчик так и сделал, очень аккуратно, а потом ухватился за поручни и двинулся вверх, навстречу отцу. Он был еще маленький – настолько маленький, что взял отца за руку. Они вместе заглянули в ведро, потом сели в грузовик и уехали.

Кевин, наблюдая за всем этим из машины, подумал: «Хорошо», и под этим «хорошо» он подразумевал, что ничего не почувствовал, глядя на все это, на отца и сына. «У очень многих людей нет семьи, – говорил доктор Голдстейн, почесывая свою белую бороду, а потом без тени смущения стряхивая то, что осыпалось ему на грудь. – Но при этом у них все же есть дом». И спокойно складывал руки на большом животе.

По пути сюда, к воде, Кевин проехал мимо дома своего детства. Дорога так и осталась грунтовой, с глубокими выбоинами, но среди леса выросло несколько новых домов. Стволы деревьев должны были бы стать вдвое толще, они, наверное, и стали, но лес все равно остался таким, каким Кевин его помнил: густым, спутанным, корявым. Неровный лоскут неба показался между макушками, когда он повернул на холм, туда, где был его дом. Он понял, что не ошибся поворотом, когда увидел сарай – темно-красный сарай возле дома – и прямо рядом с ним гранитную скалу, которая казалась ему высоченной горой, когда он взбирался на нее в своих детских кроссовках. Скала была на месте – и дом тоже, но только он был перестроен: появилась терраса, исчезла старая кухня. Ну естественно, они захотели, чтоб от кухни и следа не осталось. Острая обида кольнула его, потом исчезла. Он сбросил скорость, внимательно вглядываясь, ища признаки того, что тут есть дети. Но не увидел ни велосипедов, ни качелей, ни баскетбольного кольца, ни домика на дереве – только горшок с розовым бальзамином, подвешенный у входной двери.

Сразу пришло облегчение, оно ощущалось где-то под ребрами, словно легкое касание волны в отлив, – утешительное спокойствие. На заднем сиденье лежало одеяло, и он все равно им воспользуется, даже если никаких детей в доме нет. Прямо сейчас в это одеяло было завернуто ружье, но когда он вернется (это будет скоро, пока чувство облегчения еще прикасается, совсем легонько, к той

внутренней черноте, которую он ощущал все это долгое время в пути), он будет лежать на сосновой хвое, под этим одеялом. Если его обнаружит мужчина, живущий в этом доме, то и ладно. А если женщина, повесившая у двери розовый бальзамин? Пусть. Она-то не будет смотреть долго, сразу отвернется. Но ребенок – ну нет, Кевин не мог вынести мысль, что какой-нибудь ребенок обнаружит то, что обнаружил он; потребность его матери уничтожить собственную жизнь оказалась столь огромной и непреодолимой, что остатки ее телесности разлетелись по всей кухне. Выбрось это из головы, приказал он себе и поехал дальше, оставив дом позади. Выбрось из головы. Лес на месте, а это все, что нужно, чтобы улечься на сосновую хвою, прижаться к тонкой, ломкой коре кедра, увидеть иголки лиственницы над головой, увидеть вокруг ярко-зеленые распахнутые листья ландышей. Прячущиеся белые цветки птицемлечника, дикие фиалки. Все это показывала ему мама.

Треньканье тросов о мачты стало слышнее, и он понял, что ветер усилился. Чайки, лишившись рыбьих кишок, перестали вопить. Одна, толстая, сидевшая на перилах сходней неподалеку от него, взлетела – всего два взмаха крыльями, и ветер унес ее ввысь. Полые кости. Кевин видел в детстве чайачьи кости – на острове Щетинистом. Он закричал от ужаса, когда брат набрал этих костей, чтобы везти домой. Оставь их, оставь, брось, орал он.

– Состояния ума и черты характера, – говорил доктор Голдстейн. – Черты характера неизменны, состояния ума меняются.

Две машины подъехали и припарковались у марины. Он никак не ожидал увидеть здесь столько жизни в будний день, но, с другой стороны, дело к июлю, люди ставят яхты на воду. Он наблюдал, как какая-то пара, оба на вид немногим старше его, сносит большую корзину по сходням, которые теперь, в прилив, не казались такими уж крутыми. А потом сетчатая дверь кафе открылась, появилась женщина в юбке гораздо ниже колен и в таком же длинном фартуке – будто вышла из другого столетия. В руке у нее было металлическое ведро, и пока она шагала к пристани, он смотрел на ее плечи, прямую спину, узкие бедра – она была красива, как может быть красиво молодое деревце в лучах предзакатного солнца. Желание шевельнулось в нем – но не вождение, а нечто вроде тяги к простоте форм, которую она олицетворяла. Он отвернулся – и подпрыгнул на месте, увидев совсем близко женское лицо: какая-то тетка смотрела в пассажирское окно прямо на него.

Миссис Киттеридж. Твою ж налево. И выглядит точь-в-точь как когда была его училкой в седьмом классе: то же открытое лицо с высокими скулами, и волосы до сих пор темные. Она ему нравилась – а она нравилась далеко не всем. Надо было бы помахать ей – «здравствуйте и до свиданья» – или завести мотор, но воспоминание о том, как он ее уважал, помешало ему это сделать. Она постучала в окно, и он, поколебавшись, потянулся и опустил стекло до конца.

– Кевин Колсон. Здравствуй.

Он кивнул.

– Пригласишь меня посидеть?

Руки на коленях сжались в кулаки. Он мотнул было головой:

– Нет, я тут как раз...

Но она уже забралась в машину – здоровенная, все сиденье заняла, коленки уперлись в приборную панель. Втащила за собой большую черную сумку и положила поперек коленей.

– Каким ветром? – спросила она.

Он отвернулся к заливу. Та молодая женщина уже возвращалась, вокруг нее яростно вопили чайки, били огромными крыльями, пикировали вниз – скорее всего, она бросала им раковины моллюсков.

– В гости? – не отставала миссис Киттеридж. – Из Нью-Йорка? Ты ведь там живешь?

– О господи, – пробормотал Кевин. – Тут что, все всё знают?

– Само собой, – с довольным видом сказала она. – А чем еще тут заниматься?

Она сидела к нему лицом, но он не хотел встречаться с ней глазами. Ветер в заливе набирал силу. Он сунул руки в карманы, чтобы не грызть костяшки пальцев.

– Тут сейчас полно туристов, – сказала миссис Киттеридж. – В это время года они расползаются по всему побережью, как крабы.

Он издал горлом звук, отвечая не на сказанное – ему-то какое дело? – а просто на то, что она с ним разговаривает. Смотрел он при этом на ту молодую стройную женщину с ведром. Склонив голову, она снова вошла в кафе и тщательно затворила за собой сетчатую дверь.

– Это Патти Хоу, – сказала миссис Киттеридж. – Помнишь ее? Патти Крейн. Она вышла за старшего из мальчиков Хоу. Милая девочка. Только у нее все время выкидыши, и от этого она грустит. – Оливия Киттеридж вздохнула, поудобнее переставила ноги, толкнула – к большому удивлению Кевина – рычаг переключения передач, устраиваясь получше и отодвигая сиденье назад. – Но я подозреваю, не сегодня-завтра врачи что-нибудь придумают и она разродится тройней.

Кевин вынул руки из карманов, похрустел костяшками.

– Патти была милая, – сказал он. – Как это я о ней позабыл.

– Она и сейчас милая. Я ведь сразу сказала. Чем ты там занимаешься в Нью-Йорке?

– А. – Он поднял руку, увидел красные пятна на костяшках, скрестил руки на груди. – Врач-интерн. Четыре года, как получил диплом.

– Ничего себе. Впечатляет. А специальность какая?

Он посмотрел на приборную панель, увидел, какая она грязная, и глазам своим не поверил – как он мог раньше не замечать. Сейчас, в ярком солнечном свете, эта панель словно сообщала миссис Киттеридж о том, что он неряха, что он жалок, что в нем ни грана достоинства.

Он глубоко вдохнул и ответил:

– Психиатрия.

Он ожидал, что она скажет: «Вот это да!» – но она ничего не сказала, и тогда он глянул на нее и увидел, что она просто кивает: мол, ясно, принято к сведению.

– Красиво тут, – сказал он и, прищурившись, посмотрел в сторону залива. Он сказал это в благодарность за то, что она старалась быть сдержанной, и к тому же это была правда: залив, который он рассматривал будто сквозь огромное, гораздо больше ветрового, стекло, и впрямь был по-своему великолепен – это треньканье мачт, эти покачивающиеся лодочки, эти волны словно со взбитыми сливками, эта дикая роза. Насколько же лучше быть рыбаком, проводить свои дни среди всего этого. Он думал обо всех ПЭТ-сканах – результатах позитронно-эмиссионной томографии головного мозга, – которые пересмотрел, ища хоть что-то о матери; руки в карманах, слушал специалистов, кивал, иногда под веками вскипали слезы. Увеличение миндалевидного тела, множественное поражение белого вещества, резкое уменьшение числа глиальных клеток. Мозг биполярника.

– Но я не собираюсь работать по специальности, – добавил он.

Ветер разыгрался всерьез, сходни ходили ходуном.

– Я так подозреваю, среди психиатров полно народу со странностями, – сказала миссис Киттеридж и опять поерзала, шаркая ногами по мелким камешкам на полу машины.

– Встречаются.

Поступая в медицинский, он хотел быть педиатром, как когда-то мама, но его потянуло в психиатрию, хотя он и понимал, что психиатры становятся психиатрами в результате собственного искалеченного детства, что они вечно ищут, ищут, ищут ответы в работах Фрейда, Хорни, Райха, надеясь выяснить, почему превратились в застрявших на анальной стадии самовлюбленных эгоцентричных придурков, и в то же время, конечно, отрицая это, – ох, какого дерьма он насмотрелся среди своих коллег, своих профессоров! Его собственный научный интерес сузился, ограничившись жертвами пыток, но и этого хватило, чтобы довести его до отчаяния, и когда он наконец вверил себя заботам Мюррея Голдстейна, доктора философии, доктора медицины, и поделился с ним своими планами – работать в Гааге с теми, кого избивали палками по пяткам, превращая их в кровавое месиво, чьи тела и рассудки лежали в руинах, – доктор Голдстейн

сказал: «Вы что, совсем с ума сошли?»

Его тянуло к сумасшедшим. Клара – ну и имечко! – Клара Пилкингтон казалась самым здравомыслящим человеком, какого он встречал за всю свою жизнь. Подумать только. А между тем она могла бы с полным правом носить на груди табличку «СТОПРОЦЕНТНО СУМАСШЕДШАЯ».

– Ты, конечно, знаешь эту присказку, – сказала миссис Киттеридж. – Психиатры – психи, кардиологи бессердечны...

Он обернулся к ней:

– А педиатры?..

– Тираны, – сказала миссис Киттеридж и слегка пожала одним плечом.

Кевин кивнул.

– Да, – тихо сказал он.

После короткой паузы миссис Киттеридж проговорила:

– Наверное, твоя мама ничего не могла с этим поделать.

Он удивился. Позыв вцепиться зубами в костяшки сделался невыносимым, он начал тереть кулаки о колени, обнаружил дыру в джинсах.

– Я думаю, что у моей матери было биполярное расстройство, – сказал он. – Недиагностированное.

– Понимаю, – кивнула миссис Киттеридж. – В наши дни ей могли бы помочь. У моего отца не было биполярного расстройства. Только депрессия. И он всегда молчал. Может быть, ему бы тоже помогли.

Кевин ничего не сказал. А может, и не помогли бы, подумал он.

– И вот теперь мой сын. У него тоже депрессия.

Кевин посмотрел на нее. Под глазами мешки, на них капельки пота. Теперь он увидел, что на самом деле она выглядит гораздо старше. Конечно, она никак не могла остаться такой, какой была тогда, – математичкой в седьмом классе, которой боялись дети. Он и сам ее боялся, хоть она ему и нравилась.

– Чем он занимается? – спросил Кевин.

– Он подиатр. Лечит людям ноги.

Он ощутил, как от нее к нему переползает пятнышко грусти. Ветер уже разошелся вовсю, теперь он дул во все стороны сразу, залив походил на безумный сине-белый торт, как попало залитый глазурью, белые пики вздымались то там, то тут. Листья тополей, что росли у марины, трепетали, ветки клонились до земли.

– Я думала о тебе, Кевин Колсон, – сказала она. – Еще как думала.

Он закрыл глаза. Услышал, как она снова заерзала, услышал скрежет камешков на резиновом коврике у нее под ногами. Он уже собирался сказать: «Не хочу, чтобы вы обо мне думали», но тут она произнесла:

– Мне нравилась твоя мама.

Он открыл глаза. Патти Хоу снова вышла из кафе, повернула к тропинке, что тянулась перед маринной, и у него в груди шевельнулась тревога: если он правильно помнит, там голая скала, оступишься – полетишь вниз. Но она-то наверняка в курсе.

– Я знаю, – сказал Кевин, поворачиваясь и глядя в большое, умное лицо миссис Киттеридж. – Вы ей тоже нравились.

Оливия Киттеридж кивнула.

– Она была умная. Очень.

Да сколько ж можно, подумал он. Но в то же время для него это что-то значило – то, что она знала его маму. В Нью-Йорке никто не знал.

– Не знаю, слышал ли ты, но мой отец тоже.

– Тоже что? – Он нахмурился и на миг сунул в рот костяшку указательного пальца.

– Покончил с собой.

Он хотел, чтоб она ушла; вот сейчас ей самое время было уйти.

– Ты женат?

Он помотал головой.

– Вот и мой сын не женат. Отчего мой бедный муж просто с ума сходит. Генри хочет, чтобы все переженались и были счастливы. А я говорю: не торопи ты его, бога ради. Тут у нас скудный улов, выбирать особо не из кого. Там-то, в Нью-Йорке, ты, наверное...

– Я не в Нью-Йорке.

– То есть?

– Я не... я больше там не живу.

Он слышал, что она вот-вот задаст вопрос, он чуть ли не физически ощущал ее желание обернуться и посмотреть на заднее сиденье, узнать, что там у него в машине. Если она это сделает, он скажет, что ему пора ехать, и попросит ее уйти. Он следил за ней краешком глаза, но она по-прежнему глядела прямо перед собой.

В руках у Патти Хоу он заметил садовые ножницы. Она стояла возле дикой розы – юбка развевалась и билась на ветру – и срезала белые цветы. Он неотрывно смотрел на Патти, за ней зыбился залив.

– Как он это сделал? – Он потер тыльной стороной ладони о бедро.

– Мой отец? Застрелился.

Пришвартованные яхты теперь высоко задирали носы, потом снова опрокидывались назад, точно их дергал какой-то сердитый подводный монстр. Ветви дикой розы, усеянные белыми цветами, наклонились до земли, снова выпрямились, всклокоченные листья трепетали, словно тоже были океанской зыбью. Он смотрел, как Патти Хоу отходит от куста и трясет рукой, точно уколовшись.

– И записки не оставил, – сказала миссис Киттеридж. – Из-за этого мама еще сильнее мучилась. Считала, что он мог бы хоть это для нее сделать, – оставлял же он записку, когда шел в магазин. Она все повторяла: «Ведь ему всегда, всегда хватало заботливости оставить мне записку, когда он куда-нибудь уходил». Только он-то никуда не ушел. Он лежал, бедный, там, в кухне.

– Эти яхты никогда не отвязываются, не уносит их? – Кевин представил свою кухню, из детства. Он знал, что пуля двадцать второго калибра может пролететь милю, пробить девятидюймовую доску. Но, пробив небо, свод черепа, свод потолка – долго ли еще она пролетит?

– О, иногда бывает. Не так часто, как можно подумать, с такими-то шквалами. Но время от времени какая-нибудь одна сорвется – и все становятся на уши. Приходится ее догонять и молить бога, чтоб не разбилась о скалы.

– И тогда на марину подают в суд? – Он говорил это все, чтобы ее отвлечь.

– Не знаю, как они это улаживают, – сказала миссис Киттеридж. – Наверное, в страховых договорах есть специальные пункты. Стихийное бедствие. Обстоятельства непреодолимой силы.

В тот самый миг, когда Кевин осознал, что ему нравится звук ее голоса, он ощутил прилив адреналина, знакомое исступленное сопротивление неутомимой системы, стремящейся выжить, выстоять. Он сощурился и уставился вдаль, на океан. Ветер сгонял в кучу большие серые облака, но солнце, словно состязаясь с ним, пронзало их желтыми лучами, и вода то там, то здесь сверкала с неистойвой веселостью.

– Огнестрельное оружие – для женщины это необычно, – с задумчивым видом сказала миссис Киттеридж.

Он глянул на нее. Она не ответила на его взгляд, просто смотрела на бурлящий прилив.

– Мама и была необычной женщиной, – сказал он мрачно.

– Да, – сказала миссис Киттеридж. – Это так.

Когда Патти Хоу закончила смену, сняла фартук и пошла вешать его в подсобку, она увидела сквозь запыленное окно желтые лилии, росшие на крошечной лужайке в дальнем конце марины. Она вообразила, как смотрелись бы эти цветы в банке у кровати. «Я тоже расстроен, – сказал муж тогда, после второго раза, и добавил: – Но я понимаю, тебе, наверное, кажется, что это случилось только с тобой». От этого воспоминания глаза увлажнились, любовь заполонила ее, словно разбухая внутри. Если срезать лилии, никто и не заметит. Туда, в дальний конец марины, почти никто не ходит – тропинка такая узкая, а обрыв такой крутой. Перестраховки ради там недавно поставили табличку «Проход воспрещен!» и поговаривали даже, не отгородить ли это место от греха подальше, пока какой-нибудь ребенок, оставленный без присмотра, не вздумал пролезть туда сквозь заросли. Но Патти просто срежет несколько цветочков и сразу уйдет. Она нашла в ящике садовые ножницы и отправилась за цветами. Выйдя из кафе, она заметила, что в машине с Кевином Колсоном теперь сидит миссис Киттеридж, и от этого – оттого что миссис Киттеридж там, рядом с ним, – ей сразу стало как-то спокойнее и надежнее. Она не могла бы сказать, почему так, и не стала задумываться об этом. Просто поразительно, до чего разбушевался ветер. Надо поскорее срезать цветы, обернуть их во влажное бумажное полотенце, а по дороге домой заехать к маме. Сначала она склонилась над кустом дикой розы и подумала, какое милое будет сочетание желтого с белым, но ветви забились на ветру как живые и искололи ей пальцы, и она пошла по тропинке дальше, к желтым лилиям.

Кевин сказал:

– Ну что ж, миссис Киттеридж, было очень приятно вас повидать, – и повернулся к ней с кивком, это был сигнал к прощанию. Жаль, что она его встретила, плохая примета, но уж за это он не в ответе. Ответственность он ощущал разве что перед доктором Голдстейном, которого искренне любил, но и это чувство притупилось, когда он повернул на шоссе.

Оливия Киттеридж достала из большой черной сумки бумажную салфетку, коснулась ею лба, провела по линии роста волос, не глядя на Кевина. Потом сказала:

– Жаль, что я передала ему эти гены.

Кевин еле заметно закатил глаза. Гены, ДНК, РНК, шестая хромосома, вся эта хрень с дофамином и серотонином – он давно утратил к этому всему интерес. Хуже того: он злился на это все как на предательство. «Мы стоим на пороге проникновения в подлинную – молекулярную – суть устройства разума», – услышал он в прошлом году на лекции одного светила науки. Заря новой эры.

Да у нас что ни день, то заря какой-нибудь новой эры.

– Хотя, должна сказать, от Генри он тоже получил тот еще наборчик генов. Его мамаша была шизанутая на всю голову. Просто мрак.

– Чья мамаша?

– Да Генри же. Моего мужа. – Миссис Киттеридж достала очки от солнца, надела. – Кажется, в наши дни не принято говорить «шизанутый»?

Она вопросительно посмотрела на него. Он как раз чуть было не впился зубами в свое запястье, но снова опустил руки на колени.

Уходите же бога ради, думал он.

– Но у нее было три нервных срыва и потом шоковая терапия. Это считается?

Он пожал плечами.

– Окей, она была с большими странностями. Надеюсь, хоть это я имею право сказать.

Шизанутая на всю голову – это когда ты берешь лезвие и делаешь длинные надрезы у себя на груди. На бедрах, на руках. СТОПРОЦЕНТНО СУМАСШЕДШАЯ. Вот это и есть шизанутость на всю голову. В их первую ночь он в темноте ощутил под пальцами эти шрамы. «Это я упала», – прошептала она. Он представлял себе жизнь с ней. Картины на стенах, свет, струящийся в окно спальни. Друзья в гостях на День благодарения. Елка на Рождество, потому что Клара захочет елку.

– Не девушка, а катастрофа, – сказал доктор Голдстейн.

Доктор Голдстейн не имел никакого права говорить такое, это не его дело. Однако она и правда была не девушка, а катастрофа. Вот она любящая и нежная, а в следующий миг – разъяренная фурия. И эти ее порезы – они доводили его до безумия. Безумие порождает безумие. А потом она ушла, потому что в этом была вся Клара: бросать людей, бросать вообще все. И к новым восторгам, к новым помешательствам. Она была без ума от бесноватой Кэрри А. Нейшн, первой женщины – активистки движения за сухой закон, которая крушила барные стойки топорами, а потом продавала эти топоры. «Ты слышал когда-нибудь что-нибудь круче?» – спрашивала Клара, отхлебывая соевое молоко. Да, в этом была она вся. Кувыркком от одного увлечения к другому.

– Все страдают от несчастной любви, – говорил доктор Голдстейн.

Это вообще-то была неправда. Кевин знал людей, которые не страдали от несчастной любви. Может, их было немного, но и не так уж мало.

Оливия Киттеридж высморкалась.

– А ваш сын, – внезапно спросил Кевин, – он все-таки может работать?

– Что ты имеешь в виду?

– Ну, с его депрессией? Он все равно каждый день ходит на работу?

– А-а, да, конечно. – Миссис Киттеридж сняла темные очки и бросила на него взгляд – быстрый, пронизательный.

– А как мистер Киттеридж? У него все хорошо?

– Да, все в порядке. Подумывает о том, чтобы пораньше выйти на пенсию. Знаешь, аптеку ведь продали, и ему пришлось работать на новую сеть, а там у них миллион идиотских требований. Это так печально – то, куда сейчас катится этот мир.

Всегда печально, куда катится этот мир. И всегда заря новой эры.

– А у брата твоего как дела? – спросила миссис Киттеридж.

Кевин почувствовал, что очень устал. Может, это и к лучшему.

– Последнее, что я о нем слышал, – он в Беркли, живет на улице. Он наркоман. – Кевин давным-давно не думал о себе как о человеке, у которого есть брат.

– А дальше ты куда? В Техас? Я правильно помню, твой отец ведь там нашел работу?

Кевин кивнул.

– Наверное, хотел уехать как можно дальше отсюда? Говорят, время и расстояние все лечат. Может, и правда, я не знаю.

Чтобы закончить этот разговор, Кевин сказал скучным голосом:

– Отец умер в прошлом году от рака печени. Он так больше и не женился. И я почти не виделся с ним с тех пор, как уехал.

Сколько степеней ни получал Кевин во всех своих колледжах и университетах со всеми их стипендиями и грантами – отец не приехал ни разу. Но каждый новый город сулил надежду. Каждое из этих мест поначалу говорило: добро пожаловать! Ты приживешься. Ты отдохнешь. Ты сумеешь стать своим. Огромные небеса юго-запада, тени, что падали на горы в пустыне, бессчетные

кактусы – с красными верхушками, с желтыми цветами, с плоскими маковками – все это приносило ему облегчение в Тусоне, в самый первый его переезд, когда он ходил в походы, сначала один, потом с другими студентами. Пожалуй, если бы пришлось выбирать, его любимцем оказался бы Тусон, чья пыльная бескрайность разительно отличалась от здешнего изрезанного берега. Но, как и со всеми прочими местами, все эти обнадеживающие отличия – высокие жгуче-белые стеклянные здания Далласа; обсаженные деревьями улицы Хайд-Парка в Чикаго, с деревянными лесенками позади каждой квартиры (это он особенно любил); кварталы Уэст-Хартфорда, похожие на книжку с картинками, эти домики, эти идеальные газоны – все, все эти места рано или поздно, так или иначе, ясно давали понять, что нет, своим он так и не стал.

Получая медицинский диплом в Чикаго (на церемонию вручения он явился только потому, что одна из преподавательниц, добрая женщина, говорила, что огорчится, если его там не будет), он сидел на самом солнцепеке и слушал прощальное напутствие ректора: «Самое важное в жизни – любить и быть любимыми». И эти слова вызвали в нем страх, который рос и расползался, заставляя душу сжиматься и съеживаться. Надо же было сказать такое; этот человек в академическом одеянии, убеленный сединами, с лицом доброго дедушки – ему, должно быть, и в голову не пришло бы, что эти слова вызовут у Кевина такое обострение безмолвного ужаса. Даже Фрейд говорил: «Чтобы не заболеть, нам необходимо начать любить». Они ему это внушали. Каждый билборд на дороге, каждый кинофильм, журнальная обложка, телереклама – все они втолковывали: «Мы принадлежим к миру семьи и любви. А ты нет».

Нью-Йорк, самый недавний из всех, подавал самые большие надежды. Это метро с его палитрой унылых оттенков и стильных людей – оно успокаивало, умиротворяло, все эти разнообразные одежды, сумки для покупок, люди, которые спят, или читают, или кивают в такт мелодии, звучащей у них в наушниках; он любил эти подземные поезда и еще, какое-то время, любил жизнь городских больниц. Но история с Кларой и конец этой истории вызвали в нем отвращение к городу, улицы его стали казаться слишком многолюдными и суматошными – и одинаковыми. Доктора Голдстейна он любил, но и всё. Остальные надоели, и он все чаще и чаще думал о том, до чего провинциальны эти ньюйоркцы и как они этого не замечают.

Чего ему начало хотеться, – так это увидеть дом своего детства, дом, в котором – он думал так даже сейчас, сидя в машине, – он никогда, ни разу не был счастлив. Но, как ни странно, именно то несчастье держало его не отпускаая,

словно сладостное воспоминание о счастливой любовной истории. Потому что у Кевина были воспоминания о счастливых, кратких любовных историях, так не похожих на тягомотину с Кларой, – но ни одно не могло сравниться с этой внутренней жаждой, с томлением по этому месту. По этому дому, где фуфайки и шерстяные жакеты отдавали отсыревшей солью и плесневелым деревом, отчего подступала тошнота, как и от запаха горящих дров, – отец иногда разводил огонь в камине, рассеянно вороша поленья. Наверное, думал Кевин, я единственный человек в этой стране, кто ненавидит аромат поленьев в камине. Но сам дом, деревья, увитые жимолостью, внезапность женской комнатной туфельки среди сосновой хвои, распахнутые листья ландыша – по всему этому он тосковал.

Он тосковал по маме.

«Я завершил это ужасное паломничество... Но нужно сделать кое-что еще...» Кевин в который раз пожалел, что не был знаком с поэтом Джоном Беррименом.

– Когда я была маленькая, – сказала миссис Киттеридж, держа в руке темные очки, – ну то есть совсем еще маленькая девочка, я, когда папа приходил с работы, пряталась в деревянном ящике. А он садился на этот ящик и говорил: «Где же Оливия? Куда подевалась Оливия?» И так тянулось, пока я не стучала изнутри, и тогда он делал вид, будто страшно удивлен: «Оливия! Вот ты где! Я бы ни за что не догадался!» И я хохотала, и он тоже смеялся.

Кевин повернулся к ней; она снова надела темные очки и сказала:

– Не знаю, сколько это продолжалось, – наверное, до тех пор, пока я не перестала помещаться в ящик.

Он не знал, что на это ответить. Глядя вниз, на руль, он сжал кулаки, коротко, совсем незаметно. Он ощущал ее рядом, такую большую, и представил – на мгновение, – что рядом с ним сидит слониха – слониха, которая хочет стать частью человечества, милая в своей невинности; что она сидит, согнув передние ноги-обрубки в коленях и слегка, самую малость, шевелит хоботом, заканчивая свой рассказ.

– Хорошая история, – сказал он.

Он подумал о мальчишке, чистившем макрель, – как отец протянул ему руку. Снова подумал о Джоне Берримене. «Спаси нас от ружей, от отцовских самоубийств... Помилуй!.. не спускай курок, иначе мне всю жизнь страдать от твоего гнева...» Неизвестно, интересуется ли миссис Киттеридж стихами, она ведь учитель математики.

– Только глянь, как разыгрался ветер, – сказала она. – Это даже красиво – если, конечно, у тебя нет плавучего причала, который отрывается и уплывает, как у нас. Генри запросто мог разбиться о те скалы – ох и шуму тогда было.

И снова Кевин обнаружил, что ему нравится звук ее голоса. Сквозь ветровое стекло он видел волны, которые накатывали все выше, бились о риф перед самой Мариной с такой силой, что фонтан мелких брызг взлетал в воздух, а потом медленно опадал, и капли просеивались сквозь осколки солнечного света, который все-таки пробивал себе путь между черными тучами. В голове у него штормило, словно и там бесновался прибой. Не уходите, кричал его мозг, обращаясь к миссис Киттеридж. Не уходите.

Но эта болтанка в голове оказалась настоящей пыткой. Он вспомнил, как вчера утром, в Нью-Йорке, идя к своей машине, он вдруг ее не увидел – и за этот миг успел ощутить укол страха, потому что он же все продумал, и завернул в одеяло, и где же машина? Но она была там, на месте, его старенькая «субару»-универсал, и тогда он понял, что этот укол – это на самом деле была надежда. Она жила в нем как раковая опухоль. Он не хотел ее, он ее не хотел. Эти тоненькие зеленые ростки надежды, что пробивались в нем, – он больше не мог их выносить. Эта ужасная история человека, который прыгнул с моста Золотые Ворота в Сан-Франциско – и выжил, но сначала ходил по мосту туда-сюда целый час и плакал, а потом сказал, что если бы хоть кто-то остановился и спросил, почему он плачет, он бы не стал прыгать.

– Миссис Киттеридж, а теперь, пожалуйста...

Но она подалась вперед, с прищуром вглядываясь куда-то сквозь ветровое стекло:

– Стой, какого черта?..

И со скоростью, какую он и вообразить не мог, она вылетела из машины, бросив дверь распахнутой, и понеслась к марине; черная сумка осталась на траве. На миг она скрылась из глаз, потом появилась снова, размахивая руками и что-то крича, но он не слышал, что именно, звуки не долетали.

Он вышел из машины – и изумился силе ветра, ворвавшегося под рубашку.

– Скорей! Скорей! – кричала миссис Киттеридж и махала руками, как гигантская чайка крыльями.

Он подбежал к ней и посмотрел вниз, в воду, прилив оказался выше, чем он думал. Миссис Киттеридж несколько раз выбросила руку, указывая куда-то, и он увидел, как голова Патти Хоу на миг показалась над пенящейся водой, напоминая голову тюленя, мокрые волосы потемнели, потом снова скрылась, а юбка закружилась в водовороте вместе с темными прядями водорослей.

Кевин развернулся и скользнул вниз по отвесной скале, раскинув руки, как для объятия, но обнимать было нечего, лишь плоское и шершавое процарапало по нему, разодрав одежду, грудь, лицо, а после над ним вздыбилась холодная вода. Его ошеломило, до чего она холодна, будто его швырнули в гигантскую пробирку со смертоносным химическим веществом, разъедающим кожу. В этом бешеном кружении воды нога нащупала что-то твердое; он обернулся и увидел, что девушка простерла к нему руки, глаза ее открыты, юбка закрутилась вокруг талии, пальцы ее потянулись к нему, скользнули мимо, потянулись снова, и наконец он схватил ее. Прибой на миг отступил, а когда волна вернулась и накрыла их, он прижал ее к себе еще теснее, а она вцепилась в него с такой силой – он даже не поверил, что этими тонкими ручками можно что-то держать так крепко, как она держала его.

Волна опять откатила, они успели вдохнуть и снова оказались под водой, нога его задела что-то неподвижное – старую трубу, он зацепился за нее ногой. В следующий раз, едва волна ринулась назад, они оба высоко задрали головы и снова сумели сделать вдох. Он слышал, как кричит сверху миссис Киттеридж. Слов было не разобрать, но он понял, что к ним спешат на помощь. Нужно только удержать Патти, не дать ей упасть. И когда они снова оказались под этой вращающейся, засасывающей водой, он сильнее сжал ее плечо, чтобы она поняла: он ее не отпустит. Пусть даже, глядя в ее распахнутые глаза в этой вертящейся соленой воде, когда каждую волну пронизывало солнце, он успел подумать, что хотел бы затянуть этот миг навечно: темноволосая женщина на

берегу зовет на помощь, а девочка, которая когда-то прыгала через скакалку как королева, держится за него с яростной силой, под стать мощи океана, – ох, этот безумный, нелепый, непостижимый мир! Смотрите, вот ведь как она хочет жить, вот как хочет удержаться.

Пианистка

Четыре вечера в неделю Андже́ла О’Мира играла на кабинетном рояле в коктейльном зале гриль-бара «Склад». В этот зал, просторный и удобный – повсюду диванчики, пухлые кожаные стулья, низкие столики, – попадаешь сразу, стоит открыть тяжелые двери старого заведения; обеденный зал дальше, в глубине, его окна смотрят на залив. В начале недели коктейльный зал обычно пустоват, но с вечера среды и до самого конца субботы тут полно народу. Входя в толстые дубовые двери, сразу слышишь звуки рояля, а разговоры посетителей, привольно откинувшихся на спинки диванчиков, или ровно сидящих на стульях, или нависающих над стойкой бара, будто бы подстраиваются под эти звонкие звуки, так что рояль кажется не столько фоном, сколько действующим лицом. Иными словами, музыка коктейльного зала и присутствие в нем Анджи О’Мира давным-давно стали неотъемлемой частью жизни обитателей города Кросби, штат Мэн.

В юности Анджи была миловидна – рыжие локоны, безупречная кожа, – и во многих смыслах она осталась хороша собой. Но только теперь ей было изрядно за пятьдесят, и волосы ее, как попало прихваченные гребнями, были выкрашены в цвет, который мог показаться немножко чересчур рыжим, а фигура, все еще грациозная, отяжелела в середине, и это бросалось в глаза – возможно, как раз потому, что в остальном она по-прежнему оставалась весьма стройной. Однако Анджи, с ее длинной талией, сидела за инструментом с изяществом балерины – пусть и балерины, чья пора расцвета миновала. Линия подбородка утратила четкость, а морщинки вокруг глаз, наоборот, ее обрели. Но это были добрые морщинки, с этим лицом – так казалось – никогда не происходило ничего резкого, грубого. И, раз уж на то пошло, надо сказать, что на этом лице слишком явственно читалось простодушное ожидание, надежда, уже неуместная для женщины ее возраста. В наклоне ее головы, в легкой встрепанности слишком ярких волос, в открытом взгляде голубых глаз сквозило нечто такое, от чего в других обстоятельствах людям могло бы сделаться не по себе. Скажем, приезжие, проходя мимо нее в торговом центре в Кукс-Корнер, с трудом

преодолевали соблазн украдкой кинуть на нее еще взгляд-другой. Зато для жителей Кросби Анджи была персонажем знакомым. Она была просто Анджи О'Мира, пианистка, и играла в «Складе» много лет. И еще она много лет была влюблена в главу городской управы Малкольма Муди, и у них был роман. Одни это знали, другие нет.

В тот самый пятничный вечер, за неделю до Рождества, неподалеку от рояля стояла большая елка, разряженная в пух и прах, – сотрудники заведения постарались. Всякий раз, когда открывалась входная дверь, серебряный дождик легонько покачивался, а разноцветные лампочки, каждая с яйцо, сияли сквозь всевозможные шарики и гирлянды из попкорна и клюквы, под тяжестью которых слегка прогибались ветви.

На Анджи была черная юбка и розовый нейлоновый топ с треугольным вырезом, открывавшим ключицы; в крошечной нитке жемчуга на шее, в этом розовом топе и в ярко-рыжих волосах было что-то такое, из-за чего казалось, что вся она тоже сверкает, как рождественская елка, и как будто служит дополнительным украшением. Анджи пришла, как всегда, ровно в шесть, улыбнулась своей туманной, детской улыбкой, не переставая жевать мятную жвачку, поздоровалась с барменом Джоуи и с Бетти, официанткой, приткнула сумочку и пальто в дальнем конце барной стойки. Джоуи, плотного сложения мужчина, который стоял за стойкой много лет и, как всякий хороший бармен, видел всех насквозь, давно подметил про себя, что Анджи О'Мира каждый вечер приходит на работу в большом страхе. Этим, скорее всего, объяснялся слабый выхлоп алкоголя, который пробивается через ее мятное дыхание, если оказываешься достаточно близко, чтобы учуять, и наверняка потому же она никогда не пользовалась двадцатиминутным перерывом, хотя по правилам музыкального общества этот перерыв ей разрешался, а хозяином «Склада» поощрялся. «Ненавижу начинать сначала», – сказала она Джоуи однажды вечером, и тогда-то он сложил два и два и пришел к выводу, что Анджи, должно быть, страдает боязнью выступлений перед публикой.

А страдает ли она от чего-то еще, никого не касается – так принято было считать. С Анджи было вот как: люди знали о ней очень мало, но при этом каждый думал, что другие знают ее сравнительно неплохо. Она снимала крошечную квартирку на Вуд-стрит, и у нее не было машины. Но от ее дома было совсем недалеко до продуктового магазина и до «Склада» – пятнадцать минут пешком в черных туфлях на высоченных каблуках. Зимой она надевала черные сапоги на высоченных каблуках и шубку из искусственного меха и брала

маленькую синюю сумочку. Можно было увидеть, как она осторожно ступает по заснеженному тротуару, потом пересекает большую парковку у почты и наконец спускается по узенькой дорожке к заливу, возле которого и располагался белый, приземистый, обшитый досками «Склад».

Джоуи не ошибся, заподозрив у Анджи страх сцены, и да, она уже много лет как приучила себя делать первый глоток водки в пять пятнадцать, и когда полчаса спустя она выходила из своей квартирке, ей приходилось спускаться в холл, держась за стенку. Но прогулка по свежему воздуху прочищала ей голову и оставляла ровно столько уверенности, сколько требовалось, чтобы дойти до рояля, откинуть крышку, сесть и заиграть. Больше всего ее пугал этот первый миг, первые ноты, потому что как раз тогда люди по-настоящему слушали: она меняла атмосферу в зале. Именно эта ответственность пугала ее. И именно поэтому она играла три часа кряду без перерыва, чтобы зал больше не окутывала тишина, чтобы люди больше не улыбались ей, когда она садилась за инструмент; нет, она совсем не любила, когда на нее обращали внимание. Она любила играть на рояле. Уже со второго такта первой песни Анджи всегда делалось хорошо. Она будто проскальзывала в музыку, внутрь нее. Мы с тобой одно целое, говаривал Малкольм Муди. Давай-ка сольемся воедино, что ты на это скажешь, Анджи?

Анджи никогда не училась игре на фортепиано, хотя люди обычно тут ей не верили. Поэтому она давным-давно перестала людям об этом говорить. Четырех лет от роду она садилась за фортепиано в церкви и начинала играть, и это не казалось ей удивительным ни тогда, ни теперь. «У меня ручки голодные», – говорила она в детстве матери, и это была правда, она так это и ощущала – как голод. Церковь дала ее матери ключ, и Анджи по сей день могла заходить туда в любое время и играть на фортепиано.

Она услышала, как открылась дверь у нее за спиной, на миг ощутила холод, увидела, как покачнулся дождик на елке, и раздался громкий голос Оливии Киттеридж: «Чертова погода. Люблю холодрыгу».

Киттериджи, когда приходили в «Склад» вдвоем, обычно являлись рано и не сидели в коктейльном зале, а шли напрямик в обеденный. Но Генри по пути всегда кричал: «Анджи, добрый вечер!» – и улыбался во весь рот, а Оливия поднимала руку повыше над головой и махала – так она здоровалась. Любимая песня Генри была «Доброй ночи, Ирен»[1 - Goodnight, Irene – американская народная песня XX века. – Здесь и далее примеч. перев.], и Анджи старалась не

забыть сыграть ее попозже, как раз когда Киттериджи будут идти обратно. У многих были любимые песни, и Анджи их играла – иногда, не всегда. Но Генри Киттеридж – другое дело, он не такой, как все. Его песню она играла всегда, потому что всякий раз, когда она его видела, это было как попасть в теплое облако.

Сегодня Анджи было не по себе, ее пошатывало. В последнее время случались вечера, когда водка не делала того, что безотказно делала много лет, а именно: ее – счастливой, а все вокруг – приятно отдаленным. Сегодня же, как бывало уже несколько раз, она чувствовала в голове какую-то странность, разобранность. Она изо всех сил старалась удержать улыбку на лице и не смотрела ни на кого, кроме Уолтера Далтона, сидевшего в конце бара. Он послал ей воздушный поцелуй. Она подмигнула – еле заметное движение, все равно что моргнуть, просто одним глазом.

Было время, когда Малкольм Муди любил, чтобы она вот так подмигивала. «Господи, ну ты меня и заводишь», – говорил он, приходя во второй половине дня в ее комнатку на Вуд-стрит. Малкольм не любил Уолтера Далтона, называл его педиком – каковым тот и был. Еще Уолтер был алкоголиком, и колледж предложил ему уволиться, и теперь он жил в доме на острове Кумс. Уолтер приходил в бар каждый вечер, когда играла Анджи. Иногда приносил ей подарок – однажды это был шелковый шарф, потом кожаные перчатки с крошечной пуговкой сбоку. Он всегда вручал Джоуи ключи от своей машины, и Джоуи после закрытия частенько отвозил его домой, а кто-нибудь из помощников официантов ехал следом на машине Джоуи, чтобы забрать его обратно.

– До чего жалкая жизнь, – говорил ей Малкольм про Уолтера. – Каждый вечер сидеть и накачиваться в хлам.

Анджи не любила, когда людей называли жалкими, но ничего не говорила. Иногда, не часто, Анджи думала, что люди могли бы назвать жалкой ее жизнь с Малкольмом. Это приходило ей в голову, когда она шла по солнечной улице или, например, когда вдруг просыпалась ночью. От этой мысли сердце ее начинало биться сильнее, и она перебирала в уме всякое разное, что он наговорил ей за эти годы... Поначалу он говорил: «Я все время о тебе думаю». Еще «Я тебя люблю» – это он говорил и сейчас. А иногда: «Что бы я делал без тебя, Анджи?» Он никогда не покупал ей подарков, а она и не хотела.

Она снова услышала, как дверь открылась и закрылась, снова с улицы ворвался холодный воздух. Краешком глаза она заметила, как человек в черном пальто опускается на стул в дальнем углу, и от этого его движения в памяти у нее что-то легонько всколыхнулось. Но сегодня ей было не по себе.

– Лапушка, – прошептала она Бетти, проходившей мимо с подносом, полным бокалов. – Можешь передать Джоуи, что мне очень нужен маленький кофе по-ирландски?

– Конечно, – ответила Бетти, милая девушка, ростом с ребенка. – Не вопрос.

Анджи осушила чашку, держа ее в одной руке, другой продолжая выводить «Веселого Рождества»[2 - Have a Holly Jolly Christmas (1964) – автор Джонни Маркс.], и подмигнула Джоуи, который в ответ серьезно кивнул. В конце вечера она еще выпьет с Джоуи и Уолтером и расскажет им, как сегодня навещала мать в доме престарелых; может быть, обмолвится о синяках на руке у матери, а может, и нет.

– Заказ песни, Анджи. – Бетти, проходя обратно, бросила ей салфетку. Она несла поднос с напитками на растопыренной ладони, и по тому, как она изгибала спину, маневрируя между стульями, было видно, до чего он тяжелый. – От того мужчины. – Она мотнула головой, указывая в дальний угол.

На салфетке было написано: «Мост над бурной водой»[3 - Bridge Over Troubled Water (1969) – автор Пол Саймон.], и Анджи продолжила наигрывать рождественские песенки, улыбаясь своей всегдашней туманной улыбкой. На человека в углу она не взглянула. Она сыграла все до единой рождественские песни, какие вспомнила, но никак не могла попасть внутрь музыки. Может быть, стоит еще выпить, вдруг это поможет. Но человек в углу следил за ней, и он, конечно, понял, что в чашке, которую принесла ей Бетти, не только кофе. Его звали Саймон. Он тоже когда-то был пианистом.

«Упадите же на колени, услышите ангелов голоса...»[4 - Fall on your knees, O hear the angels' voices... – цитата из рождественского гимна O Holy Night (1847), автор Адольф Адам.] Но она как будто упала за борт и теперь плыла, раздвигая водоросли. Темнота его пальто давила ей на голову, топила, и еще был водянистый кошмар, как-то связанный с ее матерью. Надо скорее пробраться внутрь, думала она, однако ей было очень, очень не по себе, ее сильно качало.

Она замедлилась, сыграла «Первое Рождество»[5 - The First Noel – традиционный английский рождественский гимн, в современной форме опубликованный в 1823 году.] – вполне сносно. Теперь она видела перед собой заснеженное поле и полосу света над горизонтом.

Закончив, она сделала нечто такое, чему сама изумилась. Позднее ей пришлось задуматься, как долго она на самом деле это планировала, сама того не осознавая. Точно так же, как не разрешала себе осознать, когда именно Малкольм перестал говорить «Я все время думаю о тебе».

Анджи сделала перерыв.

Она грациозно поднесла к губам салфетку, соскользнула с табурета и направилась к туалетной комнате, рядом с которой находился телефон-автомат. Ей не хотелось беспокоить Джоуи и просить у него свою сумочку.

– Милый, – тихонько сказала она Уолтеру, – у тебя не найдется мелочи?

Он выпрямил ногу, сунул руку в карман и пересыпал ей в ладонь горсть монет.

– Ты просто шоколадная фабрика, Анджи, – проговорил Уолтер заплетающимся языком. Рука его была мокра, даже монеты оказались влажными.

– Спасибо, милый, – сказала она.

Она подошла к телефону и набрала номер Малкольма. Ни разу за все двадцать два года она не звонила ему домой, хотя запомнила номер давным-давно. Двадцать два года, думала она, слушая длинные гудки, для многих очень большой срок, но для Анджи время – бесконечное и круглое, как небо, и пытаться понять, отчего оно так, все равно что пытаться понять смысл музыки, или Бога, или почему океан такой глубокий. Анджи давным-давно научилась не объяснять для себя такие вещи, как это делают другие люди.

Малкольм взял трубку. И удивительное дело: звук его голоса не был ей приятен.

– Малкольм, – сказала она негромко, – я больше не могу с тобой встречаться. Мне ужасно, ужасно жаль, но я больше не могу.

Молчание. Жена, должно быть, стоит рядом.

– Ну давай, пока, – сказала она.

Проходя назад мимо Уолтера, она сказала ему: «Спасибо, дорогой», а он ответил: «Для тебя все что угодно, Анджи». Голос Уолтера был хриплым от выпитого, лицо лоснилось.

И тогда она сыграла то, что просил Саймон, «Мост над бурной водой», и лишь перед самым концом песни позволила себе взглянуть на него. Он не улыбнулся в ответ, и ее бросило в жар.

Она улыбнулась елке. Разноцветные лампочки казались нестерпимо яркими, и Анджи на миг пришла в смятение: зачем люди делают такое с деревьями, зачем увешивают их всякой блестящей мишурой, а некоторые еще и целый год ждут не дождутся этого. И тут ее опять бросило в жар: подумать только, всего через пару недель эту елку, голую, с обрывками дождика, повалят и выволокут на тротуар; она представила, как нелепо будет выглядеть елка, растопырившись на снегу, как неловко и стыдно задерется коротенький обрубок ствола.

Она начала играть «Мы преодолеем»[6 - We Shall Overcome - госпел, ставший песней протеста. Автор предположительно исходной версии Чарльз Альберт Тиндли.], но кто-то из бара крикнул ей: «Эй, к чему на таком серьезе, Анджи?» – и тогда она улыбнулась еще лучезарнее и заиграла взамен рэгтайм. Это было глупо – завести вдруг «Мы преодолеем». Саймон наверняка считает, что это глупо, теперь она это поняла. «Что за сопли в сиропе?» – часто говорил он ей.

Но он говорил и другое. Когда он в тот, самый первый раз пригласил их с матерью на ланч, то сказал: «Ты как из волшебной сказки», а солнечные лучи косо падали на столик.

«Ты идеальная дочь», – сказал он в лодочке, в бухте, когда ее мать махала им с утеса. «У тебя лицо ангела», – сказал он, когда они вышли из лодки на острове Щетинистый. А потом он прислал ей одну белую розу.

Ох, она тогда была совсем девочкой. В то лето однажды вечером она пришла с подружками в этот самый бар, и он как раз играл «Унеси меня на луну»[7 - Fly Me to the Moon (1954) – автор Барт Ховард.]. И как будто светился, вспыхивал

крошечными огоньками.

Но он был очень нервный, Саймон, все его тело дергалось, как у марионетки, которую тянут за ниточки. И в его игре была сила, много силы. Однако в ней не хватало... если честно, даже тогда она в глубине души знала, что в его музыке не хватало... ну, чувств. «Сыграй “Чувства” [8 - Feelings (1974) – авторы Моррис Альберт, Луи Гасте.]», – бывало, просили его, но он ни за что не соглашался. Пошлятина, говорил он. Сопли в сиропе.

Он приехал из Бостона на лето, но остался на два года. Порывая с Анджи, он сказал: «Я как будто должен встречаться с тобой и с твоей матерью одновременно. Меня от этого трясет и колотит». Позже он еще и написал ей. «Ты невротичка, – писал он. – Ты сплошная травма».

У нее не выходило нажимать на педаль, нога под черной юбкой дрожала крупной дрожью. Он был единственным человеком в ее жизни, кому она призналась, что ее мать брала у мужчин деньги.

От бара донесся взрыв хохота, и Анджи обернулась, но это просто кто-то из рыбаков рассказывал Джоуи свои рыбацкие байки. Уолтер Далтон ласково улыбнулся ей и закатил глаза, скосившись в сторону рыбаков.

Мать связала им всем троим на Рождество по синему свитеру. Когда мать вышла из комнаты, Саймон сказал: «Мы никогда не будем носить их одновременно». Мать купила ему целую стопку пластинок Бетховена. Когда Саймон уехал, мать написала ему письмо, в котором попросила вернуть пластинки, но он не вернул. Мать сказала, синие свитера все равно можно носить, и всякий раз, надевая синий свитер, она требовала, чтобы Анджи тоже надела свой. Однажды мать сказала ей: «Знаешь, Саймона выгнали из музыкального училища. Он теперь юрист по недвижимости в Бостоне. Боб Бин там случайно с ним столкнулся». «Окей», – сказала Анджи.

Тогда она думала, что никогда больше его не увидит. Потому что его лицо на миг потемнело от зависти – в тот день, когда она рассказала ему (она все-все ему рассказывала, ох, какой же она была еще ребенок тогда, в той хибаре, с матерью!), как однажды, когда ей было пятнадцать, один человек из Чикаго услышал, как она играла на местной свадьбе. Он был директором музыкального училища и целых два дня уговаривал ее мать. Анджи будет учиться. У нее будет

стипендия, комната, питание. Нет, сказала мать Анджи. Она никуда не поедет, она мамочкина детка. Но Анджи много лет представляла себе это место – бесконечное белое пространство, где девушки и юноши целыми днями играют на фортепиано. Ее будут учить добрые люди, мужчины и женщины, она научится читать музыку. Во всех комнатах будет отопление. Там не будет звуков, которые доносились из комнаты матери, – звуков, от которых она ночами затыкала уши, звуков, от которых она сбегала из дому в церковь играть на фортепиано. Но мать решила – нет. Анджи мамочкина детка.

Она снова глянула на Саймона. Он наблюдал за ней, откинувшись на спинку стула. И от него не плыло теплое облако, как когда в дверь входил Генри Киттеридж или вот как прямо сейчас в баре, где сидел Уолтер.

Зачем он приехал, что он хотел увидеть? Она представила, как он пораньше выходит из своей конторы и долго едет в потемках вдоль берега. Может, он разведен, может, у него кризис, какой часто бывает у мужчин под шестьдесят, когда они оглядываются на свою жизнь и силятся понять, почему все вышло так, как оно вышло. И поэтому он после стольких лет – а скольких? – вспомнил о ней, а может, и не вспомнил, а по какой-то другой причине доехал до Кросби, штат Мэн. Может, он и вовсе не знал, что она тут работает.

Краешком глаза она заметила, что он встает, – и вот он тут, опирается о рояль и смотрит прямо на нее. Волос у него почти не осталось.

– Привет, Саймон, – сказала она. Пальцы бегали по клавишам, она играла то, что сочиняла сама, прямо сейчас.

– Привет, Анджи. – Теперь он был не из тех, на ком хочется задержать взгляд. Может быть, тогда, раньше, он тоже был не из тех, на ком задерживают взгляд, но это было неважно в том смысле, в каком люди привыкли считать это важным. Неважно, что когда-то он носил уродскую коричневую кожаную куртку и думал, что это круто. Неважно, что делает человек, все равно ты не можешь взять и заставить себя перестать чувствовать то, что чувствуешь. Нужно просто подождать. Рано или поздно чувство проходит, потому что приходят другие. А иногда не проходит, а ссыхается во что-то крошечное и застревает в потемках сознания, как обрывок елочного дождика. Вот теперь она наконец проскальзывала в музыку.

- Как дела, Саймон? - с улыбкой спросила она.

- Спасибо, неплохо. - Он коротко кивнул. - Даже отлично. - И тут она ощутила сигнал опасности. В глазах его не было теплоты. А раньше они были теплыми, эти глаза. - Вижу, волосы у тебя все еще рыжие, - сказал он.

- Увы, теперь их приходится подкрашивать.

Он так и глядел на нее, не улыбаясь; пальто висело как на вешалке. На нем все всегда висело как на вешалке.

- Ты по-прежнему юрист, Саймон? Я слыхала, что ты юрист.

Он кивнул.

- А главное, Анджи, я хороший юрист. Приятно быть мастером своего дела.

- О да. Это уж точно. А в какой области ты юрист?

- В области недвижимости. - Он опустил взгляд, но тут же вновь вздернул подбородок. - Это увлекательно. Типа головоломки.

- А-а. Ну да, это здорово. - Она перебросила левую руку через правую и легонько пробежалась по клавишам.

- Ты когда-нибудь была замужем, Анджи?

- Н-нет. Не была, а ты женился? - Она уже заметила обручальное кольцо. Широкое. Никогда бы не подумала, что он из тех, кто станет носить такое широченное кольцо.

- Да. Трое детей. Два мальчика и девочка, все уже взрослые. - Он переступил с ноги на ногу, все так же опираясь о рояль.

- О, чудесно, Саймон. Просто чудесно. - Она забыла про гимн «Придите, верные»[9 - O Come All Ye Faithful - рождественский гимн, приписывается разным

авторам XV–XVI веков.]. Начала его играть, пальцы глубоко погрузились в мелодию; иногда она ощущала себя скульптором, который мнет и месит приятную на ощупь густую глину.

Он глянул на часы:

– Значит, ты заканчиваешь в девять?

– Ага. Да. Только, боюсь, мне придется сразу же мчаться по делам. К сожалению. – Ее больше не бросало в жар, наоборот, кожа казалась холодной как лед. И голова раскалывалась.

– Что ж, Анджи. – Он выпрямился. – Тогда я поехал. Приятно было повидать тебя после стольких лет.

– Да, Саймон. Мне тоже приятно тебя видеть.

С другой стороны к ней протянулась рука Бетти и поставила на рояль чашку с кофе.

– От Уолтера, – бросила Бетти, пробегая мимо.

Анджи обернулась, подмигнула Уолтеру этим своим еле заметным подмигиванием; Уолтер не сводил с нее мутного взгляда.

Саймон направился к выходу. И Киттериджи тоже. Генри помахал ей, а она заиграла «Спокойной ночи, Ирен».

Саймон обернулся, в два дерганных прыжка оказался рядом с ней и приблизил лицо к ее лицу:

– А знаешь, твоя мамаша приезжала в Бостон со мной повидаться.

Щекам Анджи опять сделалось очень жарко.

– Автобусом «Грейхаунд», – сказал Саймон ей прямо в ухо. – А потом на такси ко мне. Когда я впустил ее в квартиру, она попросила выпить и начала снимать с себя одежду. Медленно расстегивала ту ее пуговку на шее.

У Анджи стало сухо во рту.

– И мне было очень жаль тебя, Анджи, все эти годы.

Она улыбнулась, глядя прямо перед собой.

– Доброй ночи, Саймон.

Она выпила, держа чашку одной рукой, кофе по-ирландски. А потом стала играть, песню за песней, самые разные. Она не знала, не могла бы сказать, что она играет, но теперь она была внутри музыки, и огни на рождественской елке ярко горели и казались очень далекими. А когда она была внутри музыки, вот так, как сейчас, она многое понимала. Она понимала, что Саймон – человек, чьи надежды не оправдались, раз уж сейчас, в этом возрасте, ему потребовалось сообщить ей, что все эти годы ему было ее жаль. Она понимала, что пока он ведет машину вдоль берега обратно, к Бостону, к жене, с которой они вырастили троих детей, какая-то часть его будет ощущать своего рода удовольствие, оттого что он увидел ее, Анджи, такой, какой она была в этот вечер, и она понимала, что такое утешение знакомо многим, вот и Малкольм чувствует себя лучше, когда называет Уолтера Далтона жалким педиком, но только это чувство – как разбавленное молоко, им не насытишься, сколько ни упивайся, и оно не изменит того факта, что ты хотел быть знаменитым пианистом и давать концерты, а закончил юристом в области недвижимости, и что ты женился на женщине, и прожил с ней тридцать лет, и никогда не нравился ей в постели.

Коктейльный зал почти опустел. Теперь в нем было гораздо теплее, потому что дверь перестала то и дело открываться. Она сыграла «Мы преодолеем», дважды, медленно, торжественно, и глянула в сторону барной стойки, откуда ей улыбался Уолтер. Он поднял вверх кулак.

– Подвезти тебя, Анджи? – спросил Джоуи, когда она, закрыв крышку инструмента, отправилась за пальто и сумочкой.

– Нет, спасибо, милый, – ответила она, пока Уолтер помогал ей облачиться в белую шубку из искусственного меха. – Мне полезно прогуляться.

Сжимая в руках маленькую синюю сумочку, она осторожно пробралась по тротуару мимо сугроба, потом пересекла парковку почты. Светящееся зеленое табло у банка гласило, что температура воздуха минус три[10 - Минус девятнадцать по Цельсию.], но холода она не ощущала. Однако тушь на ресницах покрылась инеем. Мама учила ее не трогать ресницы на морозе, не то они отломаются.

Поворачивая на Вуд-стрит, где в морозной тьме бледно светили фонари, она громко сказала «Хм!», потому что слишком много всякого разного приводило ее в смятение. Такое с ней часто случалось после того, как она была внутри музыки, вот как этим вечером.

Она слегка споткнулась на своих высоченных каблуках и ухватилась за перила крыльца.

– Сука.

Она не заметила его возле дома, в тени от навеса.

– Ты сука, Анджи. – Он шагнул ей наперерез.

– Малкольм, – мягко сказала она. – Пожалуйста, не надо.

– Звонить мне домой! Ты кем себя на хер возомнила, а?

– Ну хорошо, хорошо. – Она сжала губы и приложила палец ко рту. – Успокойся. Погоди.

Звонить ему домой – это было на нее не похоже, но еще меньше было бы на нее похоже напоминать ему, что она никогда прежде, за все двадцать два года, этого не делала.

– Ты сука ненормальная, – сказал он. – И пьянчуга. – Он пошел прочь. Она увидела неподалеку его пикап. – Позвонишь мне на работу, когда проспидишься, –

бросил он через плечо. И добавил, спокойнее: – И не вздумай опять кинуть мне такую подлянку.

Даже пьяная, она точно знала, что не позвонит ему, когда протрезвеет. Она вошла в свой многоквартирный дом и села на ступеньках. Анджела О’Мира. Лицо как у ангела. Пьянчуга. Мать продавала себя мужчинам за деньги. Так и не была замужем, Анджела?

Но, сидя на лестнице, она сказала себе, что не более и не менее жалка, чем любой из них, включая жену Малкольма. И люди к ней добры. Уолтер, Джоуи и Генри Киттеридж. О да, на свете есть добрые люди. Завтра она придет на работу пораньше и расскажет Джоуи про мать и синяки. «Представь себе, – скажет она Джоуи, – представь, кому-то хватает совести щипать до синяков парализованную старуху».

Сидя на лестнице, привалившись головой к стене, теребя свою черную юбку, Анджи чувствовала: она поняла кое-что слишком поздно, но, наверное, так устроена жизнь – ты наконец кое-что понимаешь, а уже слишком поздно. Завтра она пойдет играть на фортепиано в церкви, перестанет думать о синяках на руке у матери, повыше локтя, на этой худой руке с дряблой, мягкой кожей, такой обвисшей, что когда сдавливаешь ее пальцами, трудно поверить, что она хоть что-то чувствует.

Тихий всплеск

Три часа назад, пока солнце вовсю било сквозь деревья наискосок, заливая светом лужайку за домом, местный подиатр, мужчина средних лет по имени Кристофер Киттеридж, женился на женщине не из местных по имени Сюзанна. Для них обоих это первый брак, свадьба скромная, милая, с флейтисткой и корзинами желтых миниатюрных роз в доме и снаружи. Пока что благопристойное веселье явно не собирается идти на спад, и Оливия Киттеридж, стоя у стола для пикника, думает, что сейчас бы гостям самое время убираться восвояси.

Весь день Оливия борется с ощущением, что она движется на глубине под водой, это паническое, давящее чувство, тем более что она как-то ухитрилась за

всю свою жизнь не научиться плавать. Вклинивая салфетку между планками стола для пикника, она думает: ну ладно, с меня хватит, – и, опустив взгляд, чтобы не встрять в очередной пустопорожний треп, обходит дом сбоку и открывает дверь, ведущую прямо в спальню сына. Делает несколько шагов по сосновым половицам, сияющим на солнце, и ложится на широкую двуспальную кровать Кристофера (и Сюзанны).

Платье Оливии – это, разумеется, важный нюанс, поскольку она мать жениха, – сшито из тончайшего, полупрозрачного муслина, зеленого с принтом – большие красновато-розовые цветки герани, и ей приходится очень аккуратно и вдумчиво располагаться на кровати, чтобы платье не помялось и чтобы прилично выглядеть, если кто-нибудь вдруг войдет. Оливия – особа крупная. Она это о себе знает, однако крупной она была не всегда и еще не совсем привыкла к себе такой. Да, она всегда была высокой и часто казалась себе неуклюжей, но крупная – это пришло с возрастом: лодыжки распухли, плечи сзади округлились, и появилась холка, а запястья и кисти стали как у мужчины. Оливия этим недовольна – ну еще бы; иногда, наедине с собой, она бывает недовольна особенно сильно. Но на нынешнем этапе игры она не готова отказаться от радости вкусно поесть, а это значит, что сейчас она, наверное, похожа на толстого сонного тюленя, замотанного во что-то полупрозрачное. Но платье вышло на славу, напоминает она себе, откидываясь на подушки и закрывая глаза, куда лучше, чем темные, мрачные одеяния семейки Бернстайнов. Можно подумать, в этот солнечный июньский день они явились на похороны, а не на свадьбу.

Внутренняя дверь сыновней спальни приоткрыта, и из передней части дома, тоже охваченной весельем, доносятся голоса и разнообразные звуки: высокие каблуки цокают по коридору, кто-то с размаху хлопает дверью ванной. (Ну вот скажите на милость, думает Оливия, почему бы не прикрыть дверь аккуратно?) Кто-то волочит по гостиной стул, царапая пол, приглушенный смех и разговоры, аромат кофе и густой, сладкий запах выпечки – так пахло на улочках близ пекарни Ниссена, пока она не закрылась. Сюда же примешиваются разнообразные духи, в том числе и те, что весь день напоминают Оливии спрей от насекомых. Все эти запахи как-то ухитрились проползти в коридор и просочиться в спальню.

И сигаретный дым тоже. Оливия открывает глаза – кто-то курит в садике за домом. Через открытое окно она слышит кашель, щелчок зажигалки. Нет, правда, нашествие какое-то. Она представляет себе тяжелые ботинки, которые

топчут ее клумбу с гладиолусами, в туалете шумит сливной бачок, и перед глазами возникает картина рушащегося дома: рвутся трубы, с треском разламываются половицы, складываются пополам стены. Она приподнимается, устраивается удобнее, сует себе под спину еще одну подушку.

Этот дом она построила сама – ну, почти сама. Они с Генри много лет назад полностью разработали проект и потом трудились бок о бок со строителями, чтобы у Криса, когда он выучится на подиатра и вернется домой, было пристойное жилье. Когда строишь дом сам, у тебя к нему совсем другое чувство, чем когда его строят тебе чужие люди. Оливия привыкла к этому чувству, потому что она всегда любила сама создавать вещи: платья, сады, дома. (Корзины желтых роз – тоже ее рук дело, она расставила их с утра пораньше, еще до рассвета.) Ее собственный дом, на несколько миль ниже по дороге, они с Генри тоже строили сами, много лет назад, и совсем недавно она выгнала уборщицу из-за того, что эта юная дурында волоком тянула пылесос по полу и точно так же стаскивала вниз, отчего он бился о стены и ступеньки.

По крайней мере, Кристофер ценит свой дом. В последние годы они заботились о доме все втроем, Оливия, Генри и Кристофер, – полировали дерево, сажали сирень и рододендроны, копали ямки под столбы забора. Теперь Сюзанна (про себя Оливия называет ее Доктор Сью) возьмет дело в свои руки. Небось наймет садовника и экономку, она же из богатой семьи. («Какие хорошенькие у вас настурции», – сказала Доктор Сью Оливии пару недель назад, указывая на ряды петуний.) Но это ничего, думает Оливия. Приходится подвинуться, чтобы уступить место новому.

Сквозь опущенные веки Оливия видит красные лучи заката, косо падающие в окно, чувствует, как солнце согревает ее лодыжки и голени, трогает рукой нагретую мягкую ткань платья, которое и правда удалось на славу. Ей приятно думать о куске черничного торта, который ей удалось незаметно опустить в большую кожаную сумку, – как она придет домой и спокойно его съест, как она снимет пояс для чулок, как все опять вернется в норму.

Оливия чувствует, что в комнате кто-то есть, и открывает глаза. Из дверного проема на нее пялится ребенок, маленькая девочка, одна из чикагских племяшек невесты. Это как раз та, которая перед самой свадебной церемонией должна была посыпать дорожку лепестками роз, но в последний момент передумала, надулась – и ни в какую. Доктор Сью, впрочем, не рассердилась, она что-то ласково, ободряюще шептала девочке, обхватив ладонями маленькую

головку. Наконец Сюзанна добродушно крикнула «Поехали!» женщине, стоявшей у дерева, и та заиграла на флейте. И тогда Сюзанна подошла к Кристоферу – тот не улыбался, застыл, словно коряга, выброшенная на берег, – и так они оба стояли на лужайке, пока их женили.

Но этот жест, эти ладони, бережно сложенные чашечкой вокруг детской головки, то, как рука Сюзанны одним легким быстрым движением погладила девочкины светлые волосы и тонкую шейку, – все это осталось с Оливией. Все равно что смотреть, как какая-то женщина ныряет с борта яхты и легко плывет к берегу. Напоминание о том, что одни люди могут то, чего не могут другие.

– Привет, – говорит Оливия девочке, но та не отвечает. Через пару секунд Оливия спрашивает: – Сколько тебе лет?

Она давно уже не разбирается в маленьких детях, на вид этому ребенку года четыре, быть может, пять, – в семействе Бернштейнов, похоже, рослых не водится.

Девочка по-прежнему молчит.

– Ну давай, беги, – говорит ей Оливия, но дитя прислоняется к дверному косяку и слегка раскачивается туда-сюда, не сводя глаз с Оливии.

– Пялиться на людей неприлично, – сообщает ей Оливия. – Тебя разве этому не учили?

Девочка, продолжая раскачиваться, спокойно говорит:

– Ты похожа на мертвую.

Оливия приподнимает голову:

– Ах вот чему учат детей в наше время?

Но, опускаясь опять на подушки, она обнаруживает, что тело реагирует на слова девчонки короткой болью за грудиной, легкой, будто взмах крыла. Ребенку не мешало бы вымыть язык с мылом.

Ну и ладно, все равно этот день подходит к концу. Оливия смотрит вверх, на стеклянную крышу над кроватью, и уговаривает себя, что, кажется, ей удалось его пережить. Она воображает, что было бы, если б сегодня, в день свадьбы сына, ее опять хватил сердечный приступ. Вот она сидит на складном стуле на лужайке, у всех на виду, и когда сын говорит «обещаю», она молча, неуклюже валится замертво, лицом в траву; широкая задница, обтянутая полупрозрачным муслином с геранями, торчит, выставленная на всеобщее обозрение. Обеспечит народ темой для разговоров на много недель.

- Что это за штуки у тебя на лице?

Оливия поворачивает голову к двери:

- Ты еще здесь? Я думала, ты ушла.

- Из одной такой штуки волос торчит, - говорит ребенок, осмелев, и делает шаг в комнату. - Из той, что на бороде.

Оливия снова обращает взор к потолку и встречает эти слова спокойно, без ударов крыла в груди. Поразительно, до чего нахальны нынешние дети. И какая отличная была мысль - сделать над кроватью стеклянную крышу. Крис говорил ей, что зимой можно иногда лежать и смотреть, как идет снег. Он всегда был такой - совсем другой, очень тонкий, остро чувствующий. Вот почему он так отлично пишет масляными красками, от врача-подиатра такого обычно не ожидаешь. Он был интересным, непростым человеком, ее сын, а в детстве - таким впечатлительным, что однажды, читая «Хайди», нарисовал к ней иллюстрацию - какие-то горные цветы на альпийском склоне.

- Что это у тебя на бороде?

Оливия видит, что девочка жует ленточку своего платья.

- Крошки, - отвечает Оливия. - От маленьких девочек, которых я съела. Беги, пока я тебя не сожрала. - И делает большие глаза.

Девочка слегка пятится, держась за косяк.

- Ты все врешь, - говорит она наконец, однако поворачивается и исчезает.

- Не прошло и часа, - бурчит Оливия.

Теперь она слышит цоканье тонких каблучков по коридору, не очень ритмичное. «Я ищу тубзик для девочек», - говорит женщина, и Оливия узнает голос Дженис Бернстайн, матери Сюзанны, а голос Генри отвечает: «Сюда, вот сюда, пожалуйста».

Оливия ждет, что Генри заглянет в спальню, и да, через миг он тут как тут. Его большое лицо лучится той особой приветливостью, которая всегда находит на него в большой компании.

- С тобой все в порядке, Олли?

- Тш-ш-ш. Заткнись. Не обязательно всем знать, что я здесь.

Он подходит ближе и шепчет:

- С тобой все в порядке?

- Я готова идти домой. Хотя ты бы, конечно, рад торчать тут до третьих петухов. Ненавижу, когда взрослые тетki говорят «тубзик для девочек». Она что, напилась?

- Да нет, Олли, ну что ты.

- Они там курят, - Оливия указывает подбородком в сторону окна, - хоть бы дом не спалили.

- Не спяют, - говорит Генри и после короткой паузы добавляет: - По-моему, все прошло хорошо.

- Кто бы сомневался. Давай прощайся со всеми и поедem уже наконец поскорей.

- У нашего сына славная жена, - говорит Генри, медля у изножья кровати.

- Да, наверное.

Они молчат; в конце концов, для обоих это шок. Их сын, их единственный ребенок теперь женат. Ему тридцать восемь лет, они к нему за эти годы очень сильно привыкли.

В какой-то момент они думали, что он женится на своей ассистентке, но это длилось недолго. Потом казалось, что он вот-вот женится на учительнице с Черепахового острова, но это тоже скоро кончилось. А потом вдруг здрасьте, ни с того ни с сего: Сюзанна Бернстайн, доктор медицины, обладательница ученой степени, явилась в город на какую-то конференцию и целую неделю шастала тут в новых туфлях. Из-за этих туфель воспалился вросший ноготь, а на пятке раздулся нарыв размером со стеклянный шарик – Сюзанна готова была повторять эту историю бесконечно. «Я заглянула в “Желтые страницы”, и пока я доковыляла до его кабинета, от ноги моей вообще остались одни воспоминания. Ему пришлось сверлить мне ноготь! Романтическое знакомство, нечего сказать!»

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Goodnight, Irene – американская народная песня XX века. – Здесь и далее примеч. перев.

2

Have a Holly Jolly Christmas (1964) – автор Джонни Маркс.

3

Bridge Over Troubled Water (1969) – автор Пол Саймон.

4

Fall on your knees, O hear the angels' voices... – цитата из рождественского гимна O Holy Night (1847), автор Адольф Адам.

5

The First Noel – традиционный английский рождественский гимн, в современной форме опубликованный в 1823 году.

6

We Shall Overcome – госпел, ставший песней протеста. Автор предположительно исходной версии Чарльз Альберт Тиндли.

7

Fly Me to the Moon (1954) – автор Барт Ховард.

8

Feelings (1974) – авторы Моррис Альберт, Луи Гасте.

9

O Come All Ye Faithful – рождественский гимн, приписывается разным авторам XV–XVI веков.

10

Минус девятнадцать по Цельсию.

Купить: <https://telnovel.com/elizabet-straute/oliviya-kitteridzh-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)